



# Пъета из Азии

Светлана Леонтьева

18+

# Светлана Геннадьевна Леонтьева

## Пьета из Азии

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=70302553](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70302553)*

*SelfPub; 2024*

### Аннотация

Приключенческая повесть о туристической поездке в Хельсинки в 90-х годах прошлого века оборачивается большой и лирической мелодрамой для главных героев, попавших в затруднительное положение, выбраться из которого было нелегко.

# Светлана Леонтьева

## Пьета из Азии

Нет. Это не движения, это парение. Полёт.

Его одежды были из самого синего бархата, самого нежнейшего, шелка...его бёдра качались в такт тактов, его музыка была самой музыкальной, его веселье было самым весёлым, его красный платок был самым красным. Он держал нож во рту остриём внутрь, казалось, что вот-вот разрежет сам себе розовые пухлые уголки рта, что будет всю жизнь теперь смеяться над пламенным весельем людей. Шёлковый платок взметнулся вверх, потёк над потолком. Он не шутил: бачаты был его истинной жизнью, истиной страстью. Он разорвал пуговицы рубахи, распахнул грудь, начал двигать бёдрами. Он не был ничем и никем, кроме продолжения танца, кроме красного платка, кроме крахмальной салфетки в руках Турьи. Кто-то из посетителей поставил бутылку красного вина на стол перед ним, когда он с раскинутыми руками приближался к столу, полному закусок, кто-то достал нож из его треснутого рта, кто-то по-птичьи прикоснулся к его ладони. Из-под чёрного козырька шляпы Арви смотрел и смотрел на людей, которых он заманил, приласкал музыкой, он знал, кто он, кому он единомышленник, ибо пёстрый, острый

взгляд был повсюду. Никто не мог не смотреть на Арви, и никто не мог смотреть на него. Это была странная соседская игра в футбол возле святых монастырей, где пела скорбная Пьета, пьянея любовью к миру, кричащая: Остановитесь! С потолка глядели злотые ризы света в разноцветных одеждах огня, он опускал очи долу, и вдруг уходил, удалялся, но не мог уйти до конца. Ибо он знал – там его ждали. Везде ждали, чтобы увезти куда-нибудь, объять. Сидящий во главе стола поднимал над огромным блюдом кривой турий рог, пил красное бордовое вино и финское пиво, пахнущее треской и камбалой. Официант то и дело приносил бутылку за бутылкой белого бургонского вина. Не жалея меня. Не жалея! И кто-то рядом стоящий, с глазами навывкате схватил его за талию, распахнул рубаху, стал тискать и хохотать! Это было буйное рокотание в тени родника в окрестностях пустого Хельсинки. Холодного города. Мощёного древним камнем. Это был Парадиз страсти, выпьем по полной! Ну же! Парня поили вином, сладко тебе? Он много пил, то и дело пускался в жирный, лихой разнузданный танец – это был танец подростка, влюблённого в Турью. Которая билась птицей в клетке, а он – тень этой клетки, перо этой птицы... ты кто? Я – Кент, кенте, простой финский юноша, отойдите от меня. Просто дайте мне денег. Финских марок. Много. Мне не нужна политика, правители, вожди, вражда, викинги, Скандинавия, мне нужна только Турья! Уберите свои задницы. Спрячьте их. Я не за этим пришёл. Не для этого. Эй вы, во-

нючие толстяки с длинными пивными усами, диким оскалом рта, вытарашенными от желания глазами...

Вот ты возле стола пьющих и едящих. Вот ты на подмостках правительства. Вот ты уже в самом зале парламента! И на тебя смотрят все – праведные и грешники, убитые и убийцы, правозащитники и соглядатаи, приспособленцы и борцы. Борцов мало. Остались лишь лизоблюды и боящиеся правды. Той самой. Злой. Из прошлого века!

*...Меня полоснуло изнутри словно ножом. Нет, саблей. Такой острой о двух концах. Или мечом. Серпом. Меня ударило изнутри молнией. Все внутренности словно ошпарило. Это был он! Здоровый, смеющийся, поднимающий кулачки вверх.*

*Он был живой. А мой фронтовик-дедушка лежал в Братской могиле. Замёрзший, скорчившийся. Герой, офицер, красавец, гусар. И моя бабушка Саня плакала, рассказывая, что «убийца не нашли», «убийец сбежал». Волчара.*

*Он пробирался по тропе ночью через Финляндию. Звёзды, лыжня, густой лес, тьма. И этот фриц недобитый, Гунько Микула ехал и ехал, опираясь на палки, не чувствуя усталости. Жить хотел.*

*А они не хотели? Тысячи детей, стригов, женицин? Ты подходил, спрашивал – еврей, цыган, москаль, жид, лях? А они были просто людьми. Неважно какой националь-*

*ности. Слышь ты, собака, удалось тебе скрыться, уползти? Последние сто метров ты, утопая по пояс в снегах, брёл, отирая солёный, вонючий пот. Проволока была заранее перекушена кем-то из твоих спасителей, ты легко нырнул. Но вынырнуть сразу не смог, провалился в яму, которая скрыла тебя по макушку твоих рыжих волос.*

– Лёша... Лёша... – услышал я и открыл глаза.

«Надо ехать в Финляндию!»! – путёвку в 1997 году было приобрести легко! 19 декабря – несчастливое число предупреждают нумерологи. Но Алексей Иванович Угольников спешил. Поэтому махнул рукой. Пусть будет отъезд 19 числа. Число странное, угольное, чёрное, блестящее, число диктаторов, никакого умиления в неё не было, ничего мимимишного, розового, ни мишек, ни зайчиков, 19 число – это ларец альтруизма, работы ради цели, плана, 19 число – дата рождения вождей, управителей, дата рождения Индиры Ганди. Рождённых 19 числа не сломит жизнь, они равнодушны к предателям, они великодушны ко лжи, если цель требует этого. И в то же время – это число богатства, роскоши, довольствия, число строительства коттеджа, роскошной жизни, катание на яхте, это число благотворительности, зрелости, обаяния. 19 число – это королевский титул. Осторожно, одно неверное движение – и всё, обрывы

В Финляндию Угольников поехал на автобусе, который был старым, скрипучим, из советских времён, скорее всего

списанным, но от жадности отправленном по трассе. Угольников пропустил мужчину вперёд, двух детишек, женщин. Пусть! Всё равно автобус не поедет, пока все пассажиры не рассядутся по местам.

– Вы планируете ехать? – Угольников обернулся. Женский голос – тёплый, требовательный. «Дама, лет сорока!» – подумал он.

– Да... – кивнул Угольников.

– Что же вы стоите?

У женщины были карие глаза. Ресницы накрашены чуть небрежно, видимо, дешёвой советской тушью. На женщине тяжёлая норковая шуба, шапка с козырьком, на ногах полусапожки на высоких каблуках. Но взгляд – с поволокой, как у простых женщин. Прямо-таки манящий, томный.

– Проходите! – Угольников помог женщине подняться на ступеньку. И стремительно шагнул за ней.

Она села возле окна. Улыбнулась:

– Джентельменствуете что ли? А я подумала, что в дверях трётесь просто так. Для куража.

Карие глаза тепло прищурились.

Как странно. Женщина сама по себе. Голос строгий. А глаза живут сами по себе. Глубокие зрачки, тёплые, южные.

– Я – Лопа! – женщина протянула руку.

– Кто? – переспросил Угольников, усаживаясь рядом на соседнее сидение. – Ах, извините... я не расслышал.

– Всё в порядке. Я привыкла, – женщина улыбнулась. Гла-

за словно растеклись по лицу: две вишенки, две смородинки. – У меня необычное имя. Пенелопа. Можно Лопя. Можно Пеня. Можно Нела. Можно Пенка. Ленка. Пепа. Лола. Илона. Такое имя дали родители.

Угольников поместил свою сумку в багажное отделение. Сумку Илоны пристроил туда же.

– Вы на экскурсию? Как все?

– Скорее, еду по делу, – пояснил Угольников. – Я – Алексей.

– Вам в Хельсинки?

– Да...здесь всем туда.

– Ой, не скажите...я женщина наблюдательная, – пояснила Илона, – вон тому семейству, скорее всего, в Швецию. Они мечтают перебраться туда всей толпой, эвакуироваться и попросить гражданство. Вот той парочке, сидящей в середине, просто в гостиницу подальше из Питера, скорее всего, это любовники, сбежали от вторых половинок на пару дней. А вон той старушке – видите, какая она злобная? Ей надо вырваться к своим.

– Да? – удивился Угольников. – Когда вы их успели разглядеть? Никогда бы не подумал, что кому-то можно сбежать из страны таким образом.

– Я стояла в очереди, пока вы всех пропускали вперёд. Чем мне ещё заниматься?

– Вы психолог? Сейчас модно...

– А вы кто по профессии? Сейчас все предприниматели.

– Илона, вы сами всё видите. К чему вопросы?

Карие глазки умильно прищурились. Как всегда сами по себе, отдельно от хозяйки, руки которой натружено легли на колени. Серебряный локон выбился из-под норковой шапки. Грудь тяжело вздохнула.

Всё в Илоне жило само по себе.

Угольников не заметил, как задремал. Он видел себя в ледяном панцире, в коробке, в морозном отсеке. Холодно... к нему подошла старуха, легко потрогала его, словно погладила, она дала кусок пряной сельди: «Съешь-ка кусок! Накось!» Угольников сглотнул слюни и проснулся: Илона прислонилась к его плечу, шапка съехала на бок, шубка распахнулась, блеснула нитка бус, слабые прожилки на шее. Угольников подумал: «Она замужем. И у неё есть дети. Вырвалась на три дня на экскурсию. Надела всё самое лучшее. Платье, чулки, бельё кружевное...»

Угольников потянулся. Высвободил руку. Голова Илоны скользнула вниз к животу, к расстёгнутой рубашке. «Надо её как-то вернуть в сидячее положение. Иначе похоже на разврат. Замужняя баба прелюбодействует...» Угольников потряхнул Илону за плечо.

Бесполезно. Спит. Рот открыла.

Тогда он чуть сдвинул голову Илоны, сконцентрировался и выполз с сиденья, быстро пересел на соседнее кресло. Женщина продолжала крепко спать, шапка мягко сползла и уткнулась в розовое ухо, в котором красовался рубин, оправ-

ленный витиеватыми цветочком из золота.

– Надо же, как вырядилась: шуба, сапоги, золото...как в театр. Это же Финляндия, детка, страна Деда Мороза, ледовых катков, санок, полозьев, страна шоколада, Калевалы, свежих булок и распродаж в конце года...

Угольников попытался уснуть вновь, но у него не получалось, не было того сонного тепла Илоны, её упругого плеча, тихого постанывания. И, в конце концов, меховой шапки...вообще, в то время в стране был бум головных уборов, особенно кроличьих беретов, каракулевых папах, соболиных накидок. Женщины пришивали специальные «держалки» из простой растягивающейся бейки, чтобы какой-нибудь хулиган не сорвал головной убор, на который модница копила не менее года, откладывая из скудного заработка. У Илоны не была пришита резиночка, поэтому норковое изделие постоянно съезжало. Потом женщина признается Угольнику, что держалку пришлось убрать, чтобы не позориться перед финнами. И, что после возвращения, Илона обязательно снова вернёт эту неказистую защитницу, от угонов шапки, на место.

Угольников попытался облокотиться на лежащую рядом сумку, но она оказалась твердой, словно каменной, кирпичи везут, говорят про такой багаж. Слева от него сидел какой-то щуплый гражданин, то ли подросток, то ли слишком худой, практически отощавший попутчик. Угольников острожно переложил сумку с сиденья вниз, но застёжка-мол-

ния была сломана и какие-то вещи выскользнули под сиденье. «Пара кирпичей вывалилась!» – раздражённо подумал Угольников. «Ничего, извинюсь перед хозяином, этим худышкой, когда он проснётся! Возят непонятно что... всё пытаются за границей обосноваться, пристроиться, словно нас там ждут с раскрытыми объятьями. Наивные мы люди... что там делать русскому человеку? Рыбу есть?»

Но девяностые годы – самые обманные для России, что люди знали тогда о Финляндии? Летом здесь солнце в течение семидесяти трёх с половиной суток не заходит за горизонт. Оно, видимо, до того удивлено происшедшим, удивлено холодом в человеке, что пытается растопить лёд. Но безуспешно. Финляндия богата островами, озёрами синими, глубокими и наводнёнными рыбой, которая беспамятна до сумасшествия. В Сайме живут тюлени. У них синие мягкие бока и рыжие усы. Где-то там – Рейкьявик, город наркоманов и любителей кофе, город бань и парков. Причём мужчины моются вместе с женщинами. Там нет разделения. И это бесстыдство упоительно при наличии северного сияния. А ещё там много леса, просто холодного зелёного игольчатого леса. И всё, что знал Угольников об этой стране. Но самое главное – Финляндия укрывает беглых нацистов. И поэтому Угольников едет сюда, чтобы найти одного из них, или хотя бы выйти на его след. Просто плюнуть в глаза этому ублюдку. Угольников гневно сжал кулаки и проснулся. Ему в лицо кто-то светил фонариком:

– Проверка документов. Здесь граница. КПП! Скоро Имата. . . лишняя валюта, животные и товары запрещённые не приветствуются!

Угольников протянул паспорт пограничнику. Он говорил без переводчика с акцентом. И его слова звучали так: проверка до-ку-менов границ! Дальше будет Ювяскюля, Савонлинну и трасса А124.

Причём «трасса» звучала, как трса!

– Что у вас в сумке? – пограничник обратился к соседу, который сжался в комок, худое лицо вытянулось, пожелтевшие пальцы дрогнули:

– Картины у меня там. Везу на выставку. Последняя надежда прославиться! В Питере я никому не нужен. Это дело всей моей жизни.

Илона, сидевшая спереди, мягко привстала, с любопытством взглянула на художника:

– Ещё один диссидент!

Пограничник грубо рванул сумку, там действительно были картины. Около пятнадцати штук.

– Я думал кирпичи или камни. А это искусство, – усмехнулся Угольников.

– Иногда творчество как раз является камнем! – парировал художник. – Скалой! Горой! Араратом!

– Нельзя! – пограничник развёл руками. – Или выходите вместе с картинами. Или оставьте сумку здесь на КПП.

– Как так? Отчего нельзя. Так быть не может. . . – бледное

лицо художника стало совсем блёклым. – Помилуйте!

Пассажиры зашумели: «Что как долго? Мы устали. У нас дети!»

– Ага...не успеют сбежать в свою Норвегию. Или как там её Швецию! Глупые, глупые...разве не понимаете, что у вас там отберут детей? А сами вы будете работать дворниками или уборщиками в лучшем случае. А в худшем случае жена ваша будет эскортницей и сойдёт с ума, – тихо произнесла Илона, утыкаясь подбородком в коричневый мех.

Художник вцепился руками в поручни:

– Не выйду! И картины не дам оставить на КПП возле свалки на заплёванной платформе! Как можно? Как?

Угольников посмотрел в окно и понял: все вещи, не пропущенные за границу через КПП, валялись возле помойного ящика. Несколько бомжей рылись в вещах, примеривая себе. Кто-то нашёл бутылку водки, кто-то банку сельди, кто-то коллекцию ножей.

Мужчина с переднего сидения встал и подошёл к художнику:

– Где его багаж?

– Вот он! – пограничник ткнул жирным пальцем в сторону картин.

Мужчина спортивным движением подхватил сумку и пошёл к выходу. Художник вскочил со своего места и ринулся вослед.

– Не имеете права! Я буду жаловаться! Писать письма Бо-

рису! Всем! И выше. Самому генеральному напишу!

Мужчина был явно натренированным. У него играли мышцы, икры напряглись. Он кулаком двинул по голове худосочного художника. Лево́й рукой вышвырнул сумку на асфальт и сел на своё место.

– То-то же! Интеллигенты сраные! У меня дети спать хотят в тёплых кроватях в гостинице! Из-за твоей мазни мы должны два часа ждать?

Художник споткнулся и выпал из автобуса, тяжело ударившись всем телом. Был слышен стук костей и слабых косточек...

Угольников попытался вступиться:

– Зачем вы так? Надо разобраться!

Пограничник пожал плечами и вышел. Двери автобуса закрылись. Художник остался вместе со своими картинами на платформе, слабо освещённой жёлтым, лимонным русским фонариком. Угольников встал со своего места:

– Люди? Вы что? Это безнравственно! Оставить человека одного! Вышвырнуть на улицу!

– А что вы предлагаете? – спортивного вида мужчина повернул свою тяжёлую шишковатую голову в сторону Угольникова. – Ждать тут всю ночь? Какой смысл? Всё равно не пропустят! Здесь дисциплина. Это не Русь-матушка...

– Так лучше! – шепнула Илона. – Здесь недалеко до Выборга! Доберётся на попутке. И картины при нём! Искусство должно принадлежать народу. Тому народу, который его за-

служивает!

– Это не справедливо...

– Ага...

Илона потянула Угольникову за рукав. Сядьте. Я сейчас всё вам объясню! Всё-всё! Так звучал призыв Илоны. Глаза её наполнились слезами. Смесь сливы, смородины и нежности.

– Мне очень жалко этого человека! Лёша, Лёша, позвольте на «ты»! Но мне всё ясно, как день. Вот прямо всё! И про всех! Я же немного больше вижу и понимаю больше. Тем более не первый раз еду, пересекаю границу. Вот стала ездить и всё тут. Манит...

Угольников всматривался в окно. Дорога петляла, убыстрялась. И где-то за синим сиянием стоял человек. Худой. Слабый. Немощный. Плачущий. Тяжёлая сумка тяготила его плечи. Искусство требует жертв! И худышка был его жертвой! Агнцем. Священной теляти.

Илона уткнулась в плечо Угольникову и расплакалась. И это было так неожиданно, что он растерялся. Сжался. Затем приобнял женщину.

– Что ты... ну что?

– Я много езжу. Даже с бандитами как-то умудрилась. Также села в автобус заграничный, поехала. А рядом бандит присел и давай хвалиться. Убил. Прирезал. Изнасиловал. Три жены замордовал. Хочешь быть четвёртой? И смеётся. С другой стороны мальчишка. Едет лечиться от СПИДА и

рака. Наркоман. Впереди девушка: вены все исколоты, мается. Жуть! Я трясусь, думаю лишь об одном – скорее бы стоянка. Думаю, выйду и дальше не поеду. Плевать на экскурсию. Деньги. Вещи. На всё! Так жить захотелось. Домой бы! Сын Ёжик с мамой остался в городе.

– И что? – Угольников продолжал гладить Илону по спине, по талии...

– Да ничего. Оказалось, что артисты роли репетируют. И на мне испробовали силу своего таланта. Потом извинялись. Я ору, как вы так могли разыграть? Я уже с жизнью попрощалась! Они мне коньяка налили полный стакан – пей! Успокаивайся. Я залпом глотнула. И тут же уснула! Проснулась: нет на мне ни серёжек, ни кольца, ни кошелька не оказалось в сумочке.

– Так они артисты или воры?

– И то и другое...

Илона вытерла слёзы салфеткой.

– Теперь золото на себя не надеваю.

– А что у вас в ушах, рубин? Алмаз?

– Ага... не смейся! Стекляшки простые. И деньги не в кошельке храню, а в белье. Кармашек пришила под юбку...

– Но шапка-то настоящая?

– Это да. Не вязаную из бабкиного мохера надевать же! И шуба натуральная...

И тут Угольников увидел, как из глубокого декольте мелькнула грудь, он опустил глаза и перед ним распахнулся

разрез юбки.

– Вы красивая...

Смородиновые глаза чуть прищурились:

– Знаете...я вижу вы – интеллектуальный человек. А я простая. Я в столовой работаю. В буфете. Пирожки там, чай, печенье. Вот просто захотелось поболтать с вами. Да и немного отрезвить пыл. В Финляндии романтика не нужна. Здесь холодные, прагматичные люди. И вы напрасно полезли защищать этого худосочного. Не фиг картины таскать сюда. Вывозить ценности...и не лезьте никуда. Законы тут суровые.

– Мы вроде бы на «ты» были! – возразил Угольников.

– Ладно. Не лезь, не вмешивайся, не болтай лишнего. И осторожнее будь. Ты для чего едешь? – слова Илоны подействовали на Угольникова отрезвляющее. А ведь она умная баба! Хоть и буфетчица.

– Дело есть...личное. Семейное. Сволочь одну ищу. В лицо хочу плюнуть.

– В Финляндии много таких! Но и хорошие люди есть! – Илона дипломатично взглянула на Угольникова. – А вот про плевков молчи. Это опасно. Тут даже стены слушают. И окна. И сидения свой слух имеют. Кстати, что там у тебя под ногами лежит?

Угольников спохватился: ой! Это он сонный, ночью небрежно запихнул вывалившийся свёрток с этюдами из сумки под сиденье!

– Тихо! – одёрнула Угольникову Илона. – Осторожно положи этюды куда-нибудь!

Женщина протянула ему шуршащий полиэтиленовый пакет.

«Как же так вышло...неудобно...получается, что я украл чужие вещи?»

– Молчи! – Илона пихнула локтём Угольникову. – А-то тебя тоже высадят где-нибудь в лесах. Их тут видимо-невидимо! Будешь с волками жить и по-волчьи выть!

– Что же делать?

– Заселишься в гостиницу. Разберёмся.

2.

Какая, к лешему, гостиница?

Но именно там в тёплой постели Угольников провалился в зыбкий, тревожный сон. Ехать на фабрику сладких изделий не захотелось. И он видел странную мокрую дождливую сумятицу, иначе это назвать никак нельзя. Перед ним мелькала нагая грудь Илоны, её ключицы, рёбра, округлые полные плечи, смешная складка на подбородке, живот, нежные волосики, и одно слово мелькало в горле: смешно-о-о!

– Успокойся... прижмись...

Что-то сестринское, материнское, словно они уже муж и жена, словно они Адам и Ева, словно в раю, и оттуда не хочется, просто не хочется возвращаться. Поэтому ничего

не случается, не происходит. Лишь тепло и лето, яблоневый сад. Черешневые ветви. И глаза Илоны, живущие отдельно от всего происходящего. Именно глаза! Ни взгляд, ни выражение, ни прищур, ни улыбка, ни морщинки над ресницами, ни брови, ни дрожащие слегка веки. Сами глаза!

И Алексей чувствовал, что они словно на дощатом полу какого-то деревянного сарая, либо барака, гаража, дома, избы в лесу. Пол дрожал, над ними летали немецкие мессершмитты, орали из своих орудий танки. А они лежали под овчинным тулупом:

– Прижмись...

Они лежали в безумии, невероятно крепко обнявшись, притиснувшись, словно замерли, застыли стали каменными глыбами, комьями земли, Илона дышала в затылок, её шапка снова съехала на бок, обнажая розовую мочку уха. И тут дверь разверзлась. Обычная дощатая дверь сарая. И за порогом стояли люди: все смотрели в сторону и в то же время на них. И все были узниками. И все были смертниками. Микула Гунько узнал всех. Илону, Угольникову. И ещё тысячу людей: евреев и украинцев, русских и белорусов. Их было около пятисот человек. Точнее четыреста девяносто восемь. А с Илоной и Угольниковым пятьсот. Палачи смеялись. Их затылки – узкие, жёлтые мелькали покрытые русским снегом. А ещё были поляки и цыгане.

Всех подвели к яме. Приказали раздеться. Рядом с Угольниковым стоял дед Николай. Живой. Пока живой. Сегодня

живой. Всегда живой. Вчера живой.

Раздались сухие выстрелы. Люди стали падать один за другим. Голые тела ложились рядом друг с другом, словно накрывая самих себя телами других людей. Ещё теплые. Ещё нежные. Ещё родные. Всегда родные. Тело деда отбросило на край, затем фриц пихнул его в яму. И мерные стуки лопат стали покрывать всех землёй. Земля пахла морозом, снегом, травой сгнившей, яблоками, грибами.

Не люблю грибы.

Особенно финские.

Не люблю мясо оленей.

Особенно в Финляндии.

Не люблю кости, томлёные в жирном соусе. Не люблю жареный язык, отвар, гречу, салат. Всё это выросло на наших костях. На мышцах, на лёгких.

На костях моего деда.

Он воевал в 1939 году против финнов.

В Хельсинки четыре достопримечательности – это несколько картин Ильи Репина, подаренные Художественному музею, Сенатская Площадь, где памятник царю русскому Александру Второму 1894 года работы финских скульпторов Вальтера Рунеберга и Йоханнеса Таканена, а также русское прошлое в финской крови, ибо это бывшая территория России, Николаевский православный Собор, Университет.

Просвещение.

Обогащение.

Роскошь русской души.

Но если рассказывать по порядку, то получится связный и живой рассказ:

Финляндия вошла в состав России в 1809 году при Александре I, дяде Александра II, как пишут в интернете, а точнее присоединилась к великой и могущественной, к богатой и великой Руси. А вот до этого семь веков с 1104 года, Финляндия принадлежала Швеции, была её аграрным, бедным не умытым, крестьянским дополнением, как кусок мяса на весах или на веках, шведская провинция, медвежий угол хоть и называлась Великим герцогством Финляндским. Языка, как токового, кроме шведского, не было, финский появился позже из фольклорных кусков и кельтских наречий. И официальным языком был шведский. И сами Хельсинки – не Хельсинки, а Гельсингфорс, на шведский манер, то есть узкая полоска, обрамлённая крепостью. Герцогство из сказки, Герцогство из козлиного подшёрстка, густого молока, город Або, нынешний Турку. Русские возвысили название, ибо аграрщина и невежество отходили на второй план, и стало теперь Княжество Финляндское, благодаря царю русскому именно Финляндским, к нему присоединили ранее завоеванные в результате русско-шведских войн 1721 и 1743 годов финские земли (война со шведами! Война русских! Не забываем Ледовое побоище!), сюда же вошёл именитый Выборг и его земли, и его Русь. Александр I подписал

Манифест о сохранении на территории княжества шведско-го законодательства, чтобы не травмировать финнов переходом на законы Руси. В 1812 году столицу княжества из Або перенесли в Гельсингфорс. В 1816 году под руководством немецкого архитектора, приглашённого самим царём, Карла Людвига Энгеля начинается застройка новой столицы, вырастают каменные дороги, площадь, строения, здание управления, построили гранитный ансамбль Сенатской площади с пристроями, со зданиями университета и его корпусами, возвели купола златые да ясные Николаевского собора. Постепенно стали переходить на финский язык в обучении, если бы не царь русский, то не видать финнам своего наречия! А при Александре II в 1860-х финский язык получил статус государственного наравне со шведским. Появился в 1863 году Финский сейм, досель утраченный, не созывавшийся при двух предыдущих императорах. Официально считается, что финны уважают великого князя финляндского и императора российского Александра II за восстановление «финского парламентаризма», а памятник воздвигли монументальный. На веки.

Русь...русификация...проникновение Китежа в горние корни.

Это ли не благодать?

Но финны – народ упрямый, да и дурной порою. Поэтому не поняли ласк русских, жажды любви и радости, поэтому отторглись в семнадцатом году прошлого века, сказали – мы

свободны. Я свободный. Она свободна.

Ага...

Наивные.

В октябре 1918 года в короли выбрали зятя германского императора Вильгельма II – принца Фридриха Карла, говорят, что он ещё тот был – бюргер! Затем отречение и Маннергейм. А вот хорошего короля так и не нашлось для финнов, и в 1939 году маршал Маннергейм был назначен верховным главнокомандующим армии Финляндии; и началось время «туда-сюда», от первых военных набегов, до подписания мирного соглашения и низвержения фашистов. Но они не дремлют. Они передают свои мысли по генам: не любим и всё тут, не примем. Не станем. И уже Маннергейм ушел в отставку с поста президента в марте 1946 года. Стар стал.

Слово оккупант для финнов ассоциируется с русскими. И никогда со шведами. Это застарелые комплексы и фобии. Это страх перед гневом славян. И благодарность уступает место неприятию, отторжению, а ещё сокрытием военных преступников, их родственников и отпрысков. Вот тебе и княжество, герцогство или, как сказать лучше, независимость. А соседи? Как без них? А царь Александр Второй? Сенатская площадь? Зарницы? И главное – конь! Вздыбившийся под седаком!

Финны отказываются от Швеции. И от Руси. От Урала и Зауралья. От тюрков.

Хотя сами и есть всё, выше сказанное!

Например: ranta, strand берег, tunti stund час  
peili spegel зеркало pelata spela играть  
katu gata улица kirkko kyrka церковь tori torg площадь  
torni torn башня väri färg цвет

Карл Густав Маннергейм – герой...преобразователь, полководец.

Юхан Рунеберг – автор гимна Финляндии. И пирожное: Runebergin torttu.

Ян Сибелиус – композитор.

Элиас Лённрот – фольклорист, явивший миру эпос – «Калевалу», а с ней романтизм, продвижение и нежность финского народа.

Сакариас Топелиус – автор финских рождественских песен – Sylvian joululaulu.

Туге Янссон – книга о муми-троллях.

Линус Торвальдс – изобретатель и выдумщик системы Linux. То есть пингвин. Ядро. Кряки. И Торвальдс делал это для себя, очень похожее на виндоус, но иное. Это фонемы и гласные. Это формирование.

Угольников неожиданно проснулся. Потрогал свой лоб. Кисть руки. Провёл по щекам.

И понял: надо умыться, надо переодеться. Побриться. И пойти на ужин. Ибо обед и полдник он уже пропустил.

Когда Угольников вошёл в кафе, расположенное на втором этаже, то сразу заметил Илону, сидящую за крайним сто-

ликом. Она пила воду.

– Иди! Иди скорее! – махнула женщина приветливо рукой. На ней было надето синее обтягивающее фигуру платье, тугие колготы, и обуты всё те же полусапожки.

Угольников набрал еду на поднос и подумал: Как в школьной столовке! Тоже комплексный обед и компот. Он взял салат, чай, мясо, пару яиц и хлеб.

Сел за столик, где восседала Илона. Стал есть. Женщина ему ничего не стала говорить. Тактично молчала. Допивала воду из чистого стакана мелкими глотками. Но её глаза, как всегда, выдавали личное, тайное, сокровенное. И даже не взгляд. А нечто в глубине зрачков, какое-то нежное. Словно там цвел дивный сад.

– Ты женат? – неожиданно спросила Илона.

– Наверно. То есть официально не женат. Но я не одинок, – ответил Угольников. – Это что-то меняет?

– Нет! – Илона тряхнула кудряшками. – У нас просто путешествие. Просто знакомство с финнами. Просто музеи, магазины...

– Ты успела куда-то сходить?

– Да. Конечно. На фабрику.

– И как?

– Ели конфеты. С собой брать нельзя, там камеры и чуть ли не рентген, видят всё, что в карманах. Я ела и ела. Но даже нет возможности запить водой. Не предусмотрено. Прямо издевательство какое-то. Вот второй стакан пью. Не напьюсь

никак. Завтра глаза распухнут. И ноги болеть будут...

Илона кивнула на свои полуботинки.

– Тебе тут не комфортно? – Угольников съел мясо. Огурец. И выпил сок.

– Нет, отчего же. Единственн – почти оторвалась подошва на левом сапоге. А в тапочках ходить неприлично. Пробовала отдать в мастерскую. Бесполезно: финский клей как вода, ничего не держится. Зря деньги потратила...

– Может купить что-то новое? – Угольников снова покопился на коленки Илоны: круглые, как детские шарики, розовые, уютные. Он понимал: его влечёт к этой женщине на уровне «хочу», желаю, переспал бы, отчего бы нет, курортный романчик, этакий чеховский водевиль.

– Что тут купишь? Всё дорого. Я не рассчитывала на покупки и траты. У меня ограниченное количество средств.

– Хочешь, дам займы? – предложил Угольников.

– Нет. Какой смысл? У нас носят шубы, шапки и валенки. Похожу на оторванной подошве. Хотя по распродажам я бы побродила...

– Пойдём. Мне всё равно надо в город. Я хочу найти улицу и дом, в котором живёт мой враг.

– Надеюсь, что мне не придётся убегать, как оглашенной от полиции? И ты не собираешься совершать нечто неприличное? – пошутила Илона.

– Убегать у тебя не получится. На каблуках и с надорванной подошвой...

Бродя по супермаркетам, обоим удалось купить несколько вещей. Илона переделалась в спортивный костюм, куртку и переобулась в кроссовки. Теперь она выглядела, как школьница перед уроком физкультуры.

– Ты красивая...

Произнёс Угольников и поцеловал Илону в щёку. Пахло ванилью от кожи. Смородинового оттенка взгляд скользнул по его лицу.

– Не надо. Это неприлично.

– Отчего же, Илоночка? – Угольников крепче сжал Илону.

– Не люблю курортные романы. Интриги...

– Напрасно.

Илона в ответ промолчала. Вскинула плечи. Но глаза, глаза говорили иное. Они соглашались. Они требовали любви. Они манили. Они вопрошали: отчего так долго нет никаких предложений?

– Пойдём ко мне в номер, – осторожно приобняв Илону, произнёс Угольников.

Илона снова ничего не ответила. Словно не слышала. Словно оглохла или срочно заболела отитом.

– Но сначала давай съездим по одному адресу. Просто вызовем такси и поедем.

Илона словно отвернулась. Или Угольникову показалось, что Илона опустила голову, когда налетел ветер? Они зашли

в вестибюль гостиницы. Алексей прошёл к стойке, где находился телефонный аппарат. Вежливо попросил разрешения сделать звонок.

Илона услышала:

– Missä kaupungin keskusta on?

Что означало мне надо доехать до старого города. В центр.

Они сели в такси. И тут вдруг Илону прорвало:

– Слушай, Лёша, не хочу с тобой спорить, но давай я тебе разъясню кое-что. Раньше я работала экскурсоводом. Это теперь работаю в буфете музея, который превратился в торговый центр. Так вот в Карелии было четырнадцать концлагерей, где было помещено двадцать четыре тысячи человек, там жили женщины и дети тоже. Это ужасно! Вермахт, СС, вся эта Галичина, Саласпилс бедненький... Финны не гнушались Третьего Рейха. И ни один из них не выдаст преступников нацистских, сколько бы ни бродили по улицам Хельсинки. Здесь считается: репарации выплачены, хватит беречь раны. Как-то я ездила в Военный музей Карельского перешейка, там видела пресловутый портсигар (его показывают всем экскурсантам), который сделал советский военнопленный Тимофей Ткалич из лагеря в Лохье для финского лейтенанта, обменяв на хлеб: так тогда поступали многие. Его убили выстрелом в затылок за две недели до освобождения лагеря. Была даже казнь. Выборг номер шесть – страшное место, обогрëнное кровью. В лагере Наараярви в южной части Финляндии содержалось 10 000 советских военноплен-

ных или около того, кто б их считал! Они ж русские! Так вот – почти две тысячи умерли с голода, от холода, от болезней. Вот спроси, отчего финны не выдадут преступников, издевающих над узниками концлагеря? Все лишь пожимают плечами. Президент этой страны, где мы сейчас разъезжаем на такси, отделался вежливым кивком. А вот деревья, где были люди, посажены вновь в тех местах, где текла кровь. Мне повезло: мои родные, кто воевал, все живы. Мои родные, кто работал в тылу, простые люди. Бабки, тётки. А что происходит сейчас, ты думал? Это способ замолчать. Вежливо отстраниться от расследований. Вроде как неудобно. Вроде как надо налаживать дружбу всех пролетариев. И знаешь, что я тебе скажу: все равно это прорвётся. Всё закончится, мы не будем ездить сюда в скором будущем. Лет через двадцать. Ибо всё равно ментально финны – отчасти нормандцы, и у них в крови на русских идти войной. Любой – экономической, интеллектуальной, электронной. Смотри, как у нас в России быстро разрушаются основы. Заводы. Фабрики. Скоро музеи закроют и библиотеки. На нас нашьют беды, мор, болезни. Вот увидишь!

Угольников с интересом смотрел на Илону. Очень интеллектуальная барышня. Начитанная. Милая.

– Тебе бы в Госдуме работать! – парировал Угольников.

Такси остановилась возле площади. Таксист показал жестами, что дальше нельзя ехать.

Угольников расплатился. Но также жестами попросил

таксиста никуда не уезжать, пообещав, что он и Илона вернутся через пару часов. Таксист кивнул.

– Ты уверен, что тебя дожждётся этот горячий финский парень? Что не обманет?

– Я захватил разговорник. Прорвёмся, Илоночка!

– А ты знаешь, что в Контула, Мюллюпуру, Меллунмяки, Вуоосаари, Тиккурила, Хакунила, Койвукуля, Корсо, Мюрмяки, Мартинлааксо ночью ходить не рекомендуют?

– Это Эспоон кескус. И это не Вантаа. Днём здесь красиво. И ночью нормально. Сейчас ещё вечер.

– Что ты ищешь? Кого? И отчего не поинтересовался в консульстве о том человеке, которого ищешь?

– Я интересовался. В Москве мне ответили, что мир, дружба, жвачка. Бесплезно швыряться в архивах. Ныть. И что мой дед погиб от рук банды Микулы Гунько.

– Значит, ты ищешь этого Микулу? Но ему наверняка уже лет шестьдесят.

– Нет, семьдесят два.

– Что ты ему скажешь?

– Надо сначала найти...

– Ты знаешь адрес?

– Примерено...

Они блуждали часа два. На ломаном английском Угольников спрашивал у редких прохожих, как пройти в нужном направлении. Вскоре улицы совершенно опустели. Ни одного прохожего. Дом, на который указала одна из женщин, навер-

няка консьержка, выглядел презентабельно. Войти внутрь не представляло возможности. Двор широкий, но скамейки узкие, окна длинные, без света и словно без тепла.

Они сели на лавочку. Угольников прижал к себе Илону. Они сидели около тридцати минут в каком-то оцепенении.

– Вот бы вышел твой старик. Сам. Просто взял бы да вышел! Ты мысленно посылай сигналы. Думай: Иди сюда, гад. Иди сволочь!

– Илона, ты живёшь интуицией, приметами, наблюдениями. И у тебя прекрасно получается существовать в этом мире. Была экскурсоводом и перешла работать в буфет. Приспособилась. Оставила дитя матери, поехала. Я тебя позвал, пошла. Рыбка моя!

– Ты шутишь? Позвал...ага... ты почти двое суток околачиваешься возле меня. Ты сам словно приманил. Я же вижу! И я сама ничего не просила. Заметь! – Илона сделал вид, что обижена. Но глаза кричали: давай, действуй! Не медли! Я здесь. Я почти твоя. Я готова. И я точно – рыбка. Твоя рыбка!

Угольников погладил Илону по щеке, чмокнул в напмаженный рот.

– Ещё посидим и пойдём. Мы с тобой выгладим очень интересно: двое классных людей. Сидят воркуют. Нормально.

– Нет. Не нормально. В Финляндии воркуют в кафе. За барной стойкой. А не на мёрзлой лавочке возле нацистского подъезда. И какие тут узкие наличники, неудобные лестницы. И неуютные дворики.

В это время к дому подъехала «Скорая» помощь. Из подъезда вынесли носилки с больным стариком. Сморщенное лицо больного было сужено в стон. К призыву о помощи. «Вміраю...» – шептал он на украинском.

– А вот и твой пациент...

Илона крепко сжала руку Угольниковова.

Раздались голоса врачей. Это означало: вези больного в госпиталь для ветеранов войны.

Когда машина «Скорой» помощи скрылась за поворотом, Илона и Угольников как по команде встали со скамейки. Переглянулись и пошли в сторону, где была машина такси.

Илона не вышла на ужин. Угольников покаялся, что не спросил номер её телефона, чтобы пригласить в ресторан. Он был так растерян увиденным, что всю дорогу в гостиницу молчал, а Илона что-то щебетала про ох, уж этот город. Этот хваленый финский рай. Этот мрачный мираж. И что человек предполагает, но обстоятельства сильнее его. Отель Kämp, основанный в 1887 году, как гранд-отель, сиял огнями, он был ими просто залит. Напротив находился парк Эспланада. И Угольников подумал, что надо было пригласить Илону в этот парк. Но женщина появилась только на завтрак утром.

– Илоночка! Рыбка! Ты не обиделась на меня? – Угольников подошёл к женщине, извиняясь.

– Нет.

– Ты что будешь есть?

– Всё.

На Илоне был надет облегающий свитер и короткая юбочка. Сапожки выглядели высушенными, подошву удалось залатать, купленным по дороге финским клеем, аналогом нашего момента.

– Каков план на сегодня? – Угольников поставил на столик несколько тарелок с кашей, запеканкой, омлетом, сыром.

– Экскурсия. Согласно расписанию мы едем смотреть дотсопримечательсти, – Илона мягко открывал рот, откусывая кусочки ветчины. – Кстати, что делать с натюрмортами, которые находятся у тебя?

– Ой, я совсем забыл про это! – признался Угольников. – Думаю, что надо их вернуть хозяину.

– Нет. Это неверно, – снова возразила Илона. – Надо воспользоваться моментом и восстановить справедливость! Мы же русские люди, должны помогать страждущим.

– То есть, ещё один вечер приключенчества? Мы снова вызываем такси и едем передавать эти натюрморты в Галерею? Или музей, как хотел художник. Кстати, как его фамилия, ты запомнила?

– Да! – кивнула Илона. – Это Простаков Иван Муилович.

– Наконец-то я услышал заветное слово «да»! Откуда такая осведомлённость?

– Он приходил к нам в музей. Я помню этого человека. И там ему отказали. Директор сказала: мы занимаемся лишь раскрученными художниками.

– И что этот Муилович талантлив? Как Малевич?

– Лучше! – кивнула Илона.

И Угольников понял – не врёт. Ибо жесты и глаза говорили одинаковым языком. Всё напоминало в Илоне восхищение. Благоволение. Такой дух симметрии.

– Тогда, может, не поедем в парк? А сразу рванём в Галерею?

– Нет. Как говорится, оплачено... не люблю, если деньги на ветер.

Но экскурсия была скучной. Некий Калевала, памятник ему и куча странных слов о финском фольклоре.

– Ты читала его книги? – поинтересовался Угольников.

Илона ничего не ответила. Она любила слово «нет» и молчание. А когда её что-то задевало, она выдавала целую тираду слов.

Но Угольников прочёл по глазам: читала, знает, помнит. Смородиновый оттенок лучился, проникал. Ему захотелось её поцеловать. Угольников наклонил лицо и чмокнул Илону в щёку. Она не отстранилась. Он коснулся губ. Затем чмокнул в переносицу. И подумал: «Сегодня мы точно переспим... Курортный роман приближался с невероятной скоростью.»

Скорбная Пьета.

Поющая Пьета.

Верная Пьета.

Танцующая и молящаяся...

Илона напоминала Угольникову фарфоровую фигурку в витрине магазина. Он купил по дороге статуэтку и принёс в номер.

Затем шебарша бумагой достал этюды. Стал вглядываться.

На всех была Илона.

И называлась Пьетой. Матерью. Сестрой. Милосердием. Болью. Ужасом. Но не всегда было с Пьетой так. Она могла быть молодой, юной, могла быть младенцем. Старухой.

– Я не могу это продать!

Подумал Угольников. Просто не могу.

Пьета молилась на распятие сына, когда он ещё был у неё в чреве, толкался ножками, упирался головой; Пьета молилась на распятие сына, когда он сделал свой первый самостоятельный шаг. Когда потянулся ручками к солнцу, когда взял в руки первую игрушку, такую смешную погремушку-слоника. Пьета вязала ему носочки, поливала герань, Пьета выходила из тесной комнаты и давала лепёшки солдатам, идущим мимо её садика. Пьета шла с ведром к ручью, чтобы набрать воды. Пьета пела звонкую песню, и её голос достигал вершины гор; Пьета ходила учиться, Пьета была смышлёной. Пьета влюбилась и вышла замуж. Когда настал срок родин они с мужем шли по узкой тропе вверх в горы, им надо бы-

ло до полночи попасть в город. Схватки начались внезапно. Неожиданно заломило спину и пятна бурой крови мелким бисером высыпали на юбку, сшитую из простого холста. Муж заботливо приподнял любимую и посадил её верхом на ослика. «Скоро, скоро мы войдём в город, там попросим приюта у добрых людей, пригласим лекаря...» «Лекаря? – переспросила Пьета. – А разве его зовут не доктором? В каком веке мы сейчас, милый, Ося, Остап?»

Но им везде отказывали в ночлеге.

– Не могу, почтенный. У меня неожиданно нагрязнули гости.

– Нет, уважаемый, мест нет. Жена больна. Дети в горячке...

– Переночевать? Ни за какие деньги! Самим спать негде, лежим вповалку на полу, застелив матрасами кухню.

– До утра? Вы с ума сошли? Даже во дворе в гамаке не получится. Тёща приехала, а с ней целая свита.

Но Пьета так побледнела, что Осип понял: надо где-то прилечь ей. Но не на площади же! Не на камнях! Он потянул ослика выше в горы, справа от дороги стоял небольшой сарай. Доски были наспех сколочены к балкам. Возле сарая бегали собаки, была привязана в стойле белого цвета лошадь. В сарае лежали ягнята, такие белые, что глаз не отвесть. Откуда, откуда эти смушки? Эти кудри? Эти локоны солнца? словно кудри красавицы, которые рассыпались по плечам,

под ногами журчали ручьи. Осип набрал воды в деревянный бочонок. Оба умылись.

– Пойду, покормлю на луг травой ослика...

– Да. Иди.

Пьета прилегла на соломенный матрас, под голову положила кофтёнку, закрыла глаза. Сначала её сморило, и она задремала. Но затем резко приподнялась от боли в животе. «Началось, это потуги. Надо дышать, глубоко вбирать воздух и медленно выдыхать его. Как пахнет хлебом, васильками, радугой...» В этот момент вернулся Осип. Он оставил осла привязанным возле жеребенка. Принёс воды, отёр Пьете лоб, сам вымыл руки и сполоснул юбку, по которой разъезжалось пятно крови. Накрыл Пьету одеялом из верблюжьих очёсов. Невыносимая нежность и страх овладевали его душой. Он целовал Пьете руки и шептал разные нежности, такие сладкие мимимишки, рисовал сердечки ногтём на ладони.

Ребёночек показался весь сразу от головки до пяток. Плацента вышла спустя минуту. Осип взял ребёнка на руки. Дитя оказалось крепким, тяжеленьким на вид. Осип запеленал младенца в свою рубаху, личико малыша сияло. Синие глаза! Столько сини! Утонешь! Махонький мой!

– Красивый, как Бог! – выдохнул Осип, кладя младенца в корзину, на дно которой была уложена мягкая кошма.

– Да...

Через щели в досках сияла огромная, жёлтого цвета Виф-

леемская звезда. Невероятное небесное светило...

Угольников перебирал этюды за этюдом:

- Пьета в старости.
- Пьета пьёт воду.
- Пьета едет на ослике.
- Пьета идёт по тропе.
- Пьета молится.

И везде ему мерещилось лицо Иоланты.

«Я брежу...» «Я невероятно схожу сума», «Я могу лишь стоять, как истукан и плакать...»

3.

Мы должны это сделать! Вспомни лицо Муиловича.

Но Угольников не помнил. Он словно потерял память. Лишь чёрный квадрат под кепкой. Лишь жалобный голос: «Что делать?» И какие-то отрывочные фразы: «На родине меня не ценят».

– Как будто тут возьмут и оценят! И бабла дадут. Так не бывает. Если ты пришёл из ниоткуда, то твоя дорога туда же. Всё в этом мире закономерно: ты исполняешь чей-то заказ в искусстве, литературе, живописи. Ты должен принадлежать к определённой группе, клану, обществу. Нет не зависимости. И не будет, – рассуждал Угольников.

– Слышу голос разума! – пошутила Илона. – Прочти, там

записка... и адрес, куда предназначены эти шедевры.

– А ещё номер телефона для обратной связи. Позвоним?

– Какой смысл? – прагматично заметила Илона. – Муилович наверняка где-нибудь идёт по дороге пешком или добирается на попутках. А здесь указан домашний телефон. Какая-то Азия...

– Пьета из Азии. Азиатская мадонна.

– Давай передадим это всё, куда предназначено. Завтра уезжать. У нас всего 12 часов, чтобы исполнить волю гения.

Угольников обнял Иоланту за талию. Она была мягкая и одновременно упругая. В обществе, где главенствует похоть навряд ли слышно, как стучит сердце самой Пьеты.

«Скорая» ехала быстро. Старику успели сделать кардиограмму. Неровный почерк её можно было прочесть, как книгу. Врач, расшифровывающая ряд всплесков и зигзагов, чуть не упала в обморок: «убивали детей. Женщин. Стариков. За то, что они из страны Советов. Эстонская дивизия Ваффен-СС, карательный отряд "Нахтигаль", "Галичина" и тысячи невинных людей. Да, я Гунько – я палач... Ярослав имя моё. А Микула псевдоним. Я не жалел никого, люди цеплялись за траву ржавыми кулаками, умоляли не убивать их. За что? За что? Мы хотим жить! Рожать детей! Выращивать хлеб! Строить нашу родину по кирпичикам. Хотим справедливости! Радости! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Русские с финнами, чехи с американцами. Негры и якуты!

Все равны!

Но автоматные очереди не умокали. Сто двадцать тысяч поляков, пятьсот тысяч русских, украинцев, белорусов, узбеков, тувинцев, татар, цыган, евреев. Тысячи голых, кровью вымазанных тел. Одежда была нужна живым немцам. Обувь. Кожа людей, зубы, ногти. А сами люди не нужны. Человек – как донор внутренних органов: почки, печень, сердце, голова, яичники. Какой там золотой миллиард? остаточню двести тысяч золотого сечения.

Христя Фриланд внучка коллаборациониста Михаила Хомяка. В гитлеровскую оккупацию он выпускал нацистскую газету «Краковские вести», а потом перебрался в Канаду. Несколько тысяч укрылось в Швеции, более тысячи в Финляндии...»

Врач выплеснула лекарство на пол.

Не стану спасать убийцу!

Но ты давала клятву!

И что?

Спаси этого человека.

Это не человек, это зверь.

Спаси, спаси, спаси...

Кардиограмма орала! Кардиограмма с её неровным подчерком...

Врач опустила руки. Они не слушались. Шприц закатился под носилки. Рваные куски ленты разлетелись как снежные хлопья...

– Олива! Проснись!

Но врач «Скорой» помощи словно застыла, стала каменной, онемела. Она никак не могла сконцентрироваться на больном старике с фамилией Гунько. И Олива понимала: если она сейчас же не поднимет шприц, закатившийся под носилки, если она сейчас же не сделает инъекцию, то её просто уволят, вышвырнут наружу. И прощай! Мой номер 112, звоните! А в ответ: hyvästit! То есть прощай. И тысяча hyvästit, hyvästi, hyvästit. То есть хивастит. Хива-стид. Стыд! Трясущимися руками Олива кое-как дотянулась до шприца, который был наполовину пуст. На иголку налипла пыль, мелкие частица грязи. Олива достала салфетку, протёрла шприц. А затем подумала: «Что я делаю? Это же антисанитария!»

А в ответ кардиограмма повторяла: Внук Гунько тоже станет нацистом, во Львове он будет совершать погромы, жечь людей в Одессе, убивать людей в Донецке. Он, как и его дед подвергнет пыткам и насилию целую группу русских солдат. Дольче солдат! Будут изобретены люди, умеющие убивать, специальная дивизия Галичина нового поколения, им введут чипы, дабы не было стыдно. Никакого стыда! Самое страшное – не человек. А его подобие, зверь человека, искусственный интеллект звероподобного душегуба.

«Может, открыть новую ампулу с лекарством. Распечатать другой шприц?» Но как Олива будет отчитываться за уже потраченную ампулу? Что она скажет? Что у неё затряслись руки? Тогда её обвинят в том, что она вчера выпивала ал-

коголь. И позавчера тоже. И это верно после того, как Оливу бросил Арви Антти, как она услышала это гневное – разлюбил тебя, Олива почти каждый день пила по стакану вина, сидя в баре, затем шла с первым попавшимся парнем, чтобы заглушить боль. Но боль не затухала. Вчера позвонила Турья, сестра, озабоченно поинтересовавшись: «Олива, я не могу до тебя дозвониться. У тебя всё в порядке? «О, да... просто много работы!», «Мы хотели с мужем тебя навещать...» «Зачем?» – вырвалось у Оливы. «Я беспокоюсь!» «Хорошо, Турья, я перезвоню завтра!» Но ни завтра, ни на следующий день Олива не перезвонила. Она ждала, когда наконец-то ей станет легче, хотя бы дышать.

Плевать! Олива втиснула иголку в синеющую руку нацистского ублюдка.

– Хай живёт!

Или не живёт? Уже неважно. Тех людей, которых убил этот гад, уже не воскресишь, а грех на душу брать не хочется. Да и выговор на работе Оливе не нужен. И увольняться тем более не хотелось.

Сегодняшний вечер у Оливы прошёл без выпивки. Она просто легла, как подкошенная на синий диванчик, закрыла глаза и содрогнулась от увиденного...

– Придётся принимать успокоительное...

Но кто-то выше смилостивился над Оливой и послал ей сон, где Арви обнимает и целует Оливу, шепчет что-то сладкое, конфетное, шоколадное...

На следующий день Арви Антти пришёл извиняться к Оливе. Он её встретил на лестнице по пути в лабораторию:

– Прости меня. Я нёс какую-то чушь! Я сволочь... у меня была мигрень. Да ещё этот разговор с матерью по поводу моих неудач. Что я неуч и лодырь.

– Арви... милый Арви...

Олива стояла в оцепенении.

– Ты простишь меня? Да? Я приду вечером. Приду?

Ей хотелось сказать – да. Только да. Но гордость не позволяла ничего ответить. Слезы душили её...

– Не плачь, Олива! – Арви прижал женщину к своему телу. – Ты веришь мне? Я раскаиваюсь. Я более не позволю себе быть таким эгоистом. Невежеством. Железом. Дровосеком.

– Все финны такие...

Олива позволила поцеловать себя. Потрогать грудь. Пролезть пальчику Арви в трусики.

– О, о... ты такая влажная...

– Меня будут ругать. Здесь нельзя.

Арви отстранился. Отодвинулся. Нырнул в пролёт под лестницей.

– Вечером. Жди! – услышала Олива исчезающее эхо. «Но как быть с изменами? Рассказать Арви о них? Или не надо? Промолчать. Или рассказать через год? Через два? Молчать. Лучше молчать, врать, краснеть и снова лгать. Иначе Арви можно потерять навсегда. Но что потом? Что? Если Арви

женится на ней, тоже молчать?» Внутренний голос подсказывал: «Это не измены. Это алкоголь и тоска. Тем более, что всегда было с презервативом, безопасно. Значит, ничего не было. Да и партнёров Олива помнила плохо...» «Но отчего вдруг такая радость? Какой ангел сжалился надо мной? Ага...эта кардиограмма...вот что! Теперь я должна кому-то поведать о зверствах Гунько. И поэтому мне ангел послал подарок: живи! Иначе в алкоголичку превратишься. А ты ещё нужна обществу, дурочка!»

Арви пришёл, когда уже стало совсем темно. Олива даже перестала ждать, подумала: это сон. Чудесный туман. Мираж. Дымок. И его губы, и его пальцы, его шёпот: ты влажная... Да, я влажная! Я жаждущая! Я возжигающая! Олива уснула. Тяжело, так с головой провалилась в омут. И когда Арви постучал в дверь потому, что звонка у Оливы не было в её махонькой квартирке, то женщина не сразу поняла, что происходит. Арви был слегка пьяным, от него пахло чем-то чужим и непонятным. Табак? Таблетка? Одеколон? Мыло?

Но размышлять было некогда. И не зачем. Олива была сонная. Разнеженная. Арви сходу плюхнулся в кровать, стал тискать и гладить Оливу. Голова кружилась, тело лежало распластанным. «Я скучал...Олива...» «Если ты снова так со мной поступишь, я не выживу!» – призналась она. «Это больно и это дико...»

Арви закурил. Раньше в кровати любимый не позволял себе ничего такого.

– Ты изменился... что с тобой? Ты... ты... стал что-то употреблять? – Олива запахнула тёплый халат. Квартира была холодная, плохо отапливаемая, дешёвенькая.

– Нет, Олива, просто я выпил пива.

– У тебя что-то произошло?

– Уволили...

Олива промолчала. Она понимала: если спрашивать за что, то будет глупо. В Финляндии любого могут выставить за дверь просто так без объяснений. Это капитализм, детка.

– Знаешь, Олива, ты первая женщина, которая не стала спрашивать – отчего, как, почему! За это я тебя обожаю. Мать разразилась тирадой, что я неудачник. Сестра сказала: ты всегда был рохлей. А ты просто обняла меня и дала то, что у тебя есть. Уют. Тепло. Тело. И больше у тебя нет ничего. Ты такая же не богатая, как и я. Хотя вкалываешь сутками в этой проклятой больнице.

Олива поднялась с кровати. Открыла холодильник, там стояло вино, был сыр и старые помидоры. «Ага...можно пожарить хлеб и сделать для Арви коктейль...он всё равно голоден, наверно! А-то, что помидоры слегка заветрили, то можно их просто полить маслом...и потушить с чесноком...»

– Сейчас приготовлю ужин.

Арви жевал молча. Он словно не замечал, что ел. Олива от вина отказалась, сославшись, что завтра рано вставать.

Они ещё долго целовались, валялись на полу, что-то шеп-

тали, покрывали друг друга нежным чмоканьем, говорили комплименты. Словно не было никакой ссоры. Измен. Боли. Были просто два человека, которые лежали нагими и беззащитными. Когда Олива заснула, прислонившись к Арви, то увидела снова кардиограмму Гунько, по которой, как на табло, пробегая, светились жуткие фразы: «Их тоже расстреляли. А они любили друг друга. Их имена Оля и Андрей!»

– Лучше бы этот старикан не выжил после инфаркта...

– Лучше бы он покаялся...

– Лучше бы отдал всё нажитое... всё украденное... всё-всё.

– Лучше бы сам себя сдал...

– Лучше бы пошёл сам под расстрел.

Но нацисты хотят жить. Долго. До ста лет. И носить в себе страшную зверскую тайну: Я упырь!

4

– Не помню, кажется, Муилович говорил о картинной галерее, вроде бы у него там какая-то договорённость имеется? – Угольников сжал ладонь в кулак.

– Скорее всего, это Художественный музей Атенеум. В Южном округе, Клууви, на Железнодорожной площади, дом два, – Илона достала из сумочки карту. – Это вот тут.

– Вряд ли там принимают этюды, – его лицо на время путешествия немного осунулось. Поблёлкло. Хотелось чего-то лёгкого. Ненавязчивой любовной интриги. Но Илона была

всерьёз озабочена делами. Она вроде бы притягивала к себе Угольникову и в тоже время медлила, раздумывая. «Ну, Илона, не будь такой тяжёлой...пора уже...лёгкий курортный романчик никому ещё не повредил!» – Алексей снова приобнял женщину за талию.

– Если не примут, то дадут совет, куда пристроить всё это! Кстати, неплохие вещи. – Илона не отстранилась, не мотнула головой, но её глаза чуть потемнели, зрачок округлился, а смородиновая роговица слегка затуманилась. «Как дама с собачкой У Чехова – хочу, но не могу решиться...»

– Едем?

– Едем!

Самое интересное, что этюды приняли на экспертизу.

И пообещали рассмотреть предложение. А дело было так: в музее сидела переводчица с финского на русский, такая милая, приветливая дама. Полная, с короткой стрижкой и смешными худыми почти птичьими ногами. Она дала свой личный номер телефона, обещала проследить за процессом. И, лишь прощаясь, назвала своё имя – Вето.

– Это значит, Света? Вита? Вера? – попытался уточнить Угольников.

– Нет. Вето. Я откликаюсь лишь на этот звук. На финский манер. – Птичьи ножки мелко зацокали по каменному полу. – Я позвоню вам...

Ветер. Ветер. На всём белом свете. Ветер. Ветер. Его не

унять никому!

Оба одновременно решили, что успеют посетить ещё больницу, куда увезли упыря Гунько с инфарктом. И оба одновременно подумали, что лучше будет встретиться в их родном городе. И никуда не спешить. Что всё-всё, что начинается, должно пройти свои этапы от конфетно-букетного периода до глубокой страсти. И оба мягко друг на друга посмотрели. Угольникову показалось, что он умеет читать эти смородиновые, вишнёвые знаки миловидной женщины – очень начитанной и роскошно располагающей к себе. Как друг. Человек. Личность. И Угольников стал смотреть на Илону словно бережнее. Как на красивую хрустальную вазу. На редкий экземпляр.

Когда Олива увидела двух русских, входящих в вестибюль больницы, она сразу поняла: они хотят осведомиться о здоровье Микулы-Ярослава Гунько. Они не были родственниками. Но они были русскими. И они хотели знать правду. Ту истину, которую случайно узнала сама Олива. И ей стало страшно. Холодный пот выступил на лбу. Ещё только этого не хватало. Сегодня Оливе не хотелось никаких тревожных вестей. Именно сегодня. Вот если бы эти русские пришли два дня тому назад. Неделю. Месяц. Когда Олива не хотела жить. Она бы всё рассказала этим русским. Как на духу. Выложила бы любую информацию. Кто вас интересуется? Кто? Этот упырь? Натя! Держите – вот кардиограмма. Читайте! Плачь-

те! Орите! Рвите волосы на себе. Берите бомбу и стреляйте. Хоп! И нет Гунько!

"Нахтигаль" – дивизия, состоящая наполовину из украинцев. Пытали детей, издевались над военнопленными, заживо сжигали простых мирных людей. В эту дивизию шли добровольно. Описывать природу коллаборантции сложно. Как рассказывать откуда берутся черви, раковые опухоли, гнойники, маньяки. Иногда целый посёлок – коллаборант, он вырастал словно из-под земли, становился на сторону немцев и вел себя хуже зверя. Отчего именно западная часть Украины этим недугом охвачена? Воздух, земля, камни, влажность – в чём причина истинная перехода человека в нелюдя, в вылюдя, недолюдя? Советская власть – это не сахар, не вата, не сухарик. Это власть с раскулачиванием, насаждением интересов – пролетарии всех стран объединяйтесь, это звание к неким всевысшим целям – братства и единства. Как простому хуторянину понять Евангелие, если он полуграмотен, если его руки и плечи болят от работы на пана? И если у него много детей, а жизнь впроголодь. Как вообще верить некой власти москалей? Ибо известно, что москали – враги, пришедшие толковать о братьях, славянстве, жизни лучше и слаще. Враньё. Ибо известно, что москали всегда хитрее, изворотливее, то лошадь отберут, то муку с погреба вынудят отдать. Не хотим колхозов, обозов, ввозов. Хотим, чтобы москали ушли восвосяси.

Творить зверства у западников в крови. От племенной

жизни. От скудной почвы. От разбойничества. От жадности. От неурожаев. И прочих бед.

Не верим москалям!

В стройные ряды "Галичины" в 1943-м попал и 18-летний Ярослав Гунько. Он дал присягу Адольфу, прошёл обучение и пошёл зверствовать во имя украинства. Вышиванок, чубов, Вия, навок, упырей.

Ярослав Гунько в парламенте Канады.

Поляки всегда считали "Галичину" одним из самых зверских нацистских формирований за всю историю. Прикрываясь идеями создания независимого украинского государства, члены дивизии проводили кровавые этнические чистки во имя создания монолитного национального и культурно-религиозного социума. И единственным быстрым и эффективным способом избавиться от чужаков считали геноцид. В боестолкновениях карательные части впервые поучаствовали лишь летом 1944-го, нарвавшись на Красную Армию под Бродами. Неудивительно, что столкновение закончилось для укро-нацистов полным разгромом. Более 7 тысяч вояк-добровольцев «Галичины» погибли и попали в плен. А ещё в самом начале 1945-го года они боролись с партизанами Словении. В победном мае "Галичина" пятилась к австрийским Альпам, сдавшись американцам и англичанам.

Как известно, что Италия – колыбель нацизма, разросшегося по всей Европе, Финляндия не отставала в этом вопросе. Она приютила тысячи упырей. Канада более трёх тысяч,

Америка и того больше. Так внуки и правнуки Гунько расползлись метастазами по всей Европе. Покажи татуировку СС и ты свободно можешь жить в Европе. Вообще богатую эту часть земли легко похитить могут те, у кого есть деньги. То есть белый бык с большим кошельком.

Как раз утром Оливе позвонила её одноклассница Вето и рассказала, что двое русских принесли в Галерею Атенеум несколько чудесных этюдов.

– Они восхитительны, Олива, поверь! – голос у Вето был звонким. Она любила искусство по-настоящему и самозабвенно.

– Зачем тебе это надо – связываться с русскими? – парировала Олива, надевая белый халат и заступая на работу. – Говорят, что эти люди опасны. У них сейчас сплошь мафия...

– Какая разница! Я говорю о невероятном чуде!

По-фински это звучало так: *ihme, ihmeteko, voimateko!*

– И всё-таки, какой смысл? Моя бабушка говорила, что у русских глаза на затылке, во рту волосы растут! А вместо рук – пистолеты! – Усмехнулась Олива.

– Звучит ободряюще! – попыталась пошутить Вето. – Как у тебя дела в личных вопросах!

– Нормально...

– Ой, кажется, я поняла, у тебя тоже – *ihme, ihmeteko, voimateko* и секс!

Поэтому, когда Олива увидела русских, она с любопытством начала их разглядывать. Нет, глаза на месте, волос в носу нет и руки нормальные. На женщине, вошедшей в вестибюль больницы, был надет модный костюм, волосы у неё вьющиеся, длинные. Мужчина был в хорошо выглаженном костюме. Оба вели себя культурно. Они попытались с помощью разговорника выяснить, в какую палату положили Гунько. Что-то острожно спрашивали, кивали, извинялись, улыбались.

Олива не выдержала, подошла к ним. Она при помощи жестов попросила посетителей выйти во двор на лужайку. Сама пообещала к ним присоединиться через полчаса. Дословно это звучало так: «Odota ulkona, tulen heti!»

– Хорошо! Тулен хети. Мы поняли! – посетители вышли и устроились на лавочке. Угольников, изнемогая от желания, гладил Илону по плечу, говорил ей комплименты, шептал на ушко всякие милые фразы. Слабый снежок копошился в небе. Илона улыбалась:

– Тулен хети. Смешная фраза... иногда мне хочется также сказать, Лёша, тулен хети... Иногда моё воображение замирает. И мне начинает казаться: отчего бы нет? Может, это судьба, а не тулен хети... по Чехову этого не следует делать. Ибо потом все будут страдать и дама с собачкой, и доктор тоже. И закончится это разводом. Распадом семей. И разочарованием.

Но Угольников продолжал гладить плечи Илоны, шепча

на ухо: «Красотуля, умнуля, сладуля, мимишка, зайчик...»

– Когда выйдет эта докторша? У нас автобус после обеда? Что она так долго тулен хети делает?

– Главное, она согласилась нам помочь. А остальное неважно. Подождём. Гостиница рядом. Я вещи уже упаковал. А ты? – Угольников приложился губами к щеке Илоны, к её завитку над ухом. Куртка на Илоне была очень модной, ярко-сиреневой, штанишки такого же цвета, кроссовки белые, с розовыми вставками. Женщина была прелестна. Угольников не замечал ни морщин у глаз, ни слегка сморщенной шеи, ни загрубелых мозолей на пальцах от постоянной мойки посуды. – Хочешь я предложу тебе другую работу?

– Какую? – Илона мягко приподняла бровки.

– Ты, говоришь, что работала экскурсоводом на предприятии, да?

– Отчего же «работала»? В моём трудовике числится эта запись. Просто директор предложил временно подработать в пищеблоке. Пока идёт пертурбация... а дальше, может, придут нормальные времена. Кто знает?

– А твой муж что говорит? – Угольников решил осторожно узнать о семейном статусе Илоны.

– Ну-ну, вспомнили-с, подумали-с, нет ли соперника здесь? – женщина мягко пропела эту фразу высоким альтом. – А я ещё и серенады умею!

В это время к ним подошла Олива. «Какая милая пароч-

ка. Как мы вчера...наверно они влюблены! И очень хотят друг друга...но зачем они пришли узнавать про этого старикана? Родственники? Враги? Фэсбэшники? Русские все такие...либо полицаи, либо энкэведешники-сталинисты...»

Олива протянула Угольникову бумажку с текстом: там было написано с ошибками, но по-русски. Видимо Олива перед тем, как выйти к русским написала небольшое письмо к ним. Обращение: «Гунько ваша дед? Дядя? Что вы надо? Лучше ехать в Москву. И молчи. Я вам кто – предатель? Что хочешь?»

Угольников мягко достал оранжевую купюру из кармана и протянул Оливе.

– Я – Алексей. А вы?

Олива отрицательно покачала головой. Нет.

Тогда Угольников пошёл ва-банк. Он достал фотографии из кармана: показал на одну из них. Это был довоенный снимок деда Николая.

– Мой дед. Файзер.

Сказал Угольников.

– А Гунько его пиф-паф!

Угольников показал, как Гунько убил деда. И как упал его дед.

И неожиданно плечи Угольникова затряслись и он заплакал. Тихо по-мальчишески.

– Гунько – фриц! – пояснила Илона. – Фашист.

Олива растерялась. Оказывается, эти русские не сволочи.

А просто несчастные люди. Ищут убийцу деда в войне.

– Unohda sota 1941-45.

Это означало – забудьте про войну. Нет смысла.

– Onko vanhus elossa vai kuollu? – спросила Илона фразой из словаря.

Что ты спросила? Что?

Угольников снова приобнял Илону. Поцеловал её на виду у Оливы в щеку.

– Я спросила, что со стариканом?

– Vai kuollu... – соврала Олива. Пусть думают, что он умер. Так будет лучше!

И зачем? Отчего? Какой смысл ворошить старое? Я не уполномочена им ничего говорить. Эта информация лишь для родственников. Например, для дочери Гунько. Пусть уезжают. Потому что Вето сказала: у них отъезд в четыре вечера...

Но глаза Оливы скользили по фигурке Илоны. Как точёная! Какие же эти варвары красивые. И рыцарь у неё – обнимает. Целует. Чудесная парочка. Неожиданно Олива протянула бумажку с номером своего домашнего адреса. И добавила:

– Ihme, ihmeteko, voimateko...

Все трое рассмеялись. Илона написала на листочке из блокнота тоже свой домашний адрес. Угольников уже хотел раскланяться, но жадная Олива протянула руку за деньгами.

– Anna rahat!

«Что это значит? Илона?» – поинтересовался он.

«Дай ей немного денег».

«Я давал».

«Наверно, другу сумму ей надо!»

«Какую? Больше? меньше?»

«Думаю, что сто марок. Хватит...»

И Угольников протянул вместо оранжевой купюры бирюзовую. Олива ловко сжала её в руках. «Куплю своему любимому сегодня хорошего вина!»

И, вправду, бутылка была чудо, как хороша!

И Ihme, ihmeteko, voimateko, секс были на высоте. Похоже, что эти русские принесли Оливе удачу.

Арви... Арви... я люблю тебя. Всем финским морозом. Льдом. Удачей. Женись на мне!

Не могу. Мама против моей ранней женитьбы. И денег у меня мало. На – возьми у меня есть! И Олива протянула Арви сто марок. Я ещё дам. Откуда деньги? Я соврала русским, что нацист Гунько умер. Зачем? Вдруг правда вскроется? Не вскроется. И я не обязана ничего, никому говорить. Сделаю вид, что не поняла вопроса этих людей. Илона говорила невнятно... ладно... ладно... спи. Ты ещё придёшь? Приду. Как только устроюсь на работу.

Олива заметила, как только появлялись русские – приходила удача.

И Арви возвращался.

Стоило Оливе только подумать об Илоне и Угольникове,

то вечером Арви уже был в её постели! И Олива поняла – они её талисман. Некий финский оберег, охранитель, такой вязанный браслет.

Арви не работал. Не мог никуда устроиться. Писал и писал заявки, ездил по адресам, но всё было тщетно. На выходные дни он уходил к маме, после викента отсиживался у Оливы. Время шло как-то особенно медленно, когда девушка была на работе. Куда-то пойти учиться, либо повысить квалификацию, у Арви не было денег. Те жалкие сто марок от Оливы давно закончились. Днём Арви бесцельно слонялся по улицам. Как-то он наткнулся на невзрачное объявление: «Tanssijaa tarvitaan!» Что означало: «Требуется танцовщик!», объявление было написано небрежным почерком, но аккуратно наклеено на выступ возле дверей кафе «Holidays», что означало «каникулы, развлечения».

– Зайду! – решил Арви. В школе он неплохо танцевал, даже выступал несколько раз на сцене. – Главное, чтобы интим не предлагали потому, что обычно вечерами собирались подвыпившие одинокие женщины...

В «Holidays» было уютно, слышалась негромкая музыка, возле барной стойки стояла милая девушка, улыбалась. У неё было совсем юное лицо, яркая помада. Арви отчего-то сравнил её с Оливой – с этой блёклой курочкой, с бесцветным выражением глаз, со скучной грудью и кошачьей влюблённостью. Арви понимал, если он бросит Оливу, то она просто станет алкоголичкой или, того хуже, примется за травку.

Иногда Олива закатывал истерики, плакала, упрекала, что Арви её недостаточно любит, затем напивалась и засыпала. Вот сестра у Оливы то, что надо! Длинноногая Турья! Обворожительная Турья! Зажигательная Турья! Арви влюбился в неё, как заяц Рождественский! Но Турья была замужем, воспитывала дочь. И Арви как-то сам незаметно для себя затеял интрижку с Оливой, чтобы быть ближе к Турье. Когда та приезжала к младшенькой сестре, к полу-фрикообразной Оливе, то Арви веселел на глазах, преобразовывался, веселел, становился деликатным. Но сейчас и речи не может быть, чтобы попытаться завезать Турью, у Арви не было даже минимальных средств к существованию.

Вышел лысый немец, точнее он появился как-то внезапно из бокового простенка, словно выплыл из тьмы:

– Что хотите? – спросил он. – Я владелец «Holidays».

– Хорошо. Ваше имя?

– Неважно...зовите меня просто Владелец «Holidays».

Здесь меня так все зовут, ибо имя моё сложное, никто не может его запомнить. Все говорят: этот толстый бюргер!

– Я пришёл по поводу объявления. Я танцую.

– Все танцуют. Не видел ни одного человека не танцующего. Даже собаки танцуют, козы пляшут, свиньи делают несколько лёгких «па». Что вы танцуете? Краковяк?

– Хумппу танцую. Енку. В Лаппенранте я посещал танцзал itiiän VPK...

– А...покажите!

Арви быстро снял куртку, повесил её аккуратно на вешалку. Снял ботинки. Расшнуровал повязку на шее. И стремительно начал двигаться по залу, вытягивая шею, изображая гуся. Это было смешно. Прямо-таки нахально. Девушка за стойкой бара рассмеялась. Затем Арви встал на четвереньки и начал изображать прыгающую лошадь.

– Нет. Это нам не подойдёт...

Владелец отошёл от барной стойки. Арви надел куртку, обулся. И направился к выходу, но Владелец вдруг снова выскочил из-за перегородки и остановил Арви:

– Знаете, мне только что позвонили заказчики, у них сегодня вечеринка. Поэтому я вас возьму на три часа. Но учтите, что никакого алкоголя! Заплачу я вам хорошо. Но никакой усталости и отдыха. Веселите публику... а теперь идите, переоденьтесь! – лицо немца вспотело. Он тяжело дышал от напряжения.

– Куда идти и во что мне переодеться? – Арви пожал плечами.

– Вот туда, за перегородку, там есть коридор, который ведёт в нишу. Найдёте там одежду, оставшуюся от прошлого танцора.

– А где он теперь. Этот весёлый парень?

– Не задавайте мне лишних вопросов! – немец махнул рукой. – Если хотите поесть, то вам принесут тарелку похлёбки и горячий сок с лимоном. Эй!

Милая официантка быстро сообразила, что надо делать:

она налила в тарелку еды и в чашку питьё.

– Идём!

Арви нырнул вглубь коридора. В считанные минуты он оказался в уютном помещении, где было несколько тяжёлых вешалок. Официантка поставила съестное на тумбу, тоже из массивного дерева, тёмно-шоколадного цвета и быстро упорхнула. Арви съел всё, что ему дали, это был бульон с кусками жирной телятины, сухарями и пряностями. Олива так не умела готовить: её ужины напоминали овсяную кашу старух, а коктейль пах резиновыми сапогами. Жареные перепелиные яйца с помидорами чаще всего были пресными, либо имели суховатый канделябровый вкус. Приходилось добавлять масла, либо соус, чтобы заглушить неприятные старушьи запахи.

Арви переоделся, переобулся в мягкие войлочные туфли своего предшественника. Надел лёгкую рубашку прямо на голое тело и трикотажные штаны фиолетового цвета. Затем он густо намазал щёки кремом, немного подкрасил брови для суровости, которая ему должна была пригодиться, если придётся изображать животное. Этот элемент у Арви всегда хорошо получался. Было весело и смешно. Единственно, что смущало Арви – это длительное пребывание в зале, целых три часа. Ни больше. Ни меньше. Выдержит ли его давно не тренированное тело нагрузки?

Но когда Арви вышел в зал, то понял – народ прибывает. Посетителей много. Все стулья заняты, в углу скамейка для

особо важных людей. И в основном это – мужчины. Шумные. Крикливые. «Отчего они не в пивной? Не на хоккее? Не у любовниц?» Женщин было мало, две-три скучные, невзрачные дамские особи расположились за столом. Арви решил начать с сальсы, он вскинул руки и начал плавно двигаться, дыша бесшумно и вихляя плечами. Так можно было двигаться бесконечно, не уставая, не напрягая мышцы, лёгкая улыбка играла у него на губах, он двигался почти бесшумно, кивая головой, нахально разглядывая посетителей, в его глазах был призыв, ну, давай, давай, смотри, какой я ловкий, гладкий, жизнерадостный, небрежный, восхитительный, умопомрачительный. Он был частью этого зала, частью его тела, частью улицы, где дома сбиваются в стаи, стекают вниз, и милая Турья, прячась за толстым деревом, снимает с себя трусики, чтобы присесть и опорожниться. Арви подглядывает за ней из узкого окна, затаив дыхание. Он видит, как жёлтая струйка течёт по траве, по цветам, как глинистая булочка выползает из её попки. Турья берёт листок лопуха и вытирает себе промежность под юбкой. У Арви словно останавливается дыхание, когда он видит розовую дырочку, влажную и нежную. Затем Турья надевает трусики и выходит из-за дерева поиграть. Затем Арви вспоминает, как после школы они все попробовали в первый раз вина. И Турья выпила залпом бокал. И её сморило, она легла прямо под то же дерево, где несколько лет тому назад опорожнялась, будучи несмышлёным ребёнком. Гурьба мальчиков расположилась рядом.

Кто-то из одноклассников подстелил под голову Турье свой свитер. Один из них, кто посмелее, начал водить пальцем по груди Турьи, второй полез под юбку. Арви подошёл ближе, но его отогнали, не мешай, она спит! Кто-то из ребят пошёл домой, им было скучно, и они не смотрели в сторону дерева. Ну подумаешь, кто-то напился и уснул, они же дети, что у них есть такого, что никто не видел? Обычное дело – мальчишки смотрят на девочек на пляже, девочки на мальчиков. Но Турья была уже созревшей девушкой: у неё были мотыльковые глаза, трепетные ресницы, пухлая грудь. Арви всё-таки умудрился подойти ближе, прилёг за кустами, делая вид, что тоже притомился. Во дворах пахло розами, лепёшками, травами, сытостью. Парни гладили и гладили Турью, разглядывали её. Кто-то приподнял кофточку, кто-то приспустил ей трусы, кто-то уже дотянулся до её лобка и трогал её розовые губки. Арви весь трепетал, он боялся прикрыть глаза, словно держался за подол материнского платья и боялся упасть. Он хотел крикнуть: Турья, приснись! Но горло пересохло. Ему стало страшно, казалось, вот сейчас с Турьей случится нечто странное, а он, как осёл лежит под кустом и кряхтит от сладкого, непонятного ощущения, от движения в нём каких-то странных токов. И ему было невыносимо тогда, словно он нарушал какой-то запрет. Тайную службу. Словно ладан поливает дёгтем. Отец Арви умер, мать ходила мыть полы богатым соседям, стирала им бельё – розовые подштанники с коричневыми кляксами, жёлтого цвета пятнами. Парни уже

совсем обнаглели, они раздвинули Турье ноги и откровенно пихали пальцы в неё.

– Эй! Хватит! – Арви взял камень и бросил в сторону хулиганов. – Я полицию вызову! Я вам задам!

– Иди сюда сам! Тут такое! – позвали его одноклассники. – Не бойся. Девка отключилась напрочь. Или ей это нравится!

Загоготали они.

Арви подошёл ближе. Дрожащей рукой коснулся влажной кожи. И тут в нём произошло неожиданное, у него начала растекаться белая жижа, словно он помочился. Одноклассники ещё больше засмеялись: «Тебе детский горшок нужен! Ты забыл, где находится туалетная комната?» Арви схватил камень, который не долетел во время падения до места. А мальчишки увлечённые разглядыванием и ощупыванием Турьи не заметили, что Арви метнул в них тяжёлый предмет. Злость закипела так стремительно, что он размахнулся и ударил самого наглого одноклассника по голове. И тут словно раздались звуки зурна и барабана. И стало легко. Наступило какое-то свадебное веселье, одноклассники вскочили на ноги, как по команде и бросились врассыпную. Возле полуобнажённой Турьи остался только он один – Арви, он был повелителем и царём этого раскинутого бесстыжего тела. И он стал танцевать возле девушки, его руки легко взлетели над девичьей грудью, запахивая кофточку, натягивая снятые кружева на живот с тяжёлым пупком, который выпя-

чивал нагло и дико. Юбка у Турьи была вся в грязи, но Арви, жмурясь и охая, накрыл ей колени девушки. Он словно учился вновь писать и читать, учился становиться заботливым. Джентльменом! Его тонкий сухой палец прополз ко рту Турьи, которая лежала, как растрёпанная книга первоклассника, по которой одноклассники учились становиться мужчинами. Турья учила всех их смыслам. И это было страшно и любопытно. А Турья лежала раненой птицей и спала. На ней были сапожки, съехавшие гармошкой, золотая цепочка от часов вывалилась из кармана, руки Арви танцевали, заправляя блузку под резинку. Они танцевали и танцевали. И не могли остановиться от стонущего экстаза. И Арви ещё был безграмотным в любви, но ему нравилось обучение. Он слышал, что женщинам платят деньги за это всё, за интим. И то таким образом можно заработать на лепёшку, испечённую на углях за углом дома в лавке. Арви решил: проснётся, тогда покормлю эту девушку. Но она спала беспечно, она во сне пила вино, у неё было много еды, вожделения и танца. Ей снился фламенко. Она выражала ритм, похоть, движение. Арви снова захотелось потрогать Турью. Потрогать там, где все трогали – дико, коварно, трепетно. Но он воздержался, ибо он не – кинто, не похотливый воробей. Он викинг. Он не дешёвка и не хулиган. Когда-нибудь он купит ночь с Турьей. И позовёт её замуж. Барабан солировал. Бил. Стучал. Трава была похожа на зелёную скатерть. А Турья – та самая лакомая еда. И бубны звенели в ладонях трав. Пахло бараниной,

оливками, жаренной рыбой. Бескровная тихая зурна плакала среди скрипок и мандолин. Парни не хотели расходиться. Тому, кому попал камень в голову было втройне обидно, что его прогнали. И он вопил что-то невнятное. Он злился. Ему хотелось мести. И тут Арви почувствовал тяжёлый удар в спину.

В этот момент проснулась Турья. Резко. Она вскочила на ноги:

– Что здесь? Кто меня так?

– Они! – кивнул Арви в сторону ватаги одноклассников.

– А ты что, ты тоже?

– Нет. Я тебя спас. Отогнал этих похотливых развратников.

– Что это у тебя? – показывая на просочившуюся кровь под рубахой, спросила всё ещё оторопелая Турья.

– Шишка! – ответил Арви.

Но тут словно застонала и запела бессловесная зурна, запыликал аккордеон. Или нет? Или показалось...

Турья ринулась к себе домой, чтобы там принять ванну.

На утро вся группа шепталась о том, как мальчишки трогали Турью, а глупый Арви стал закидывать их камнями и не воспользовался беспомощным положением Турьи, а наоборот спас её, дурачок! Вот глупый парень!

... Арви продолжал двигаться, он не считал минут, ибо музыка его будоражила, тревожила, вызывала воспоминания. И вот вышел пьяненький парень из Лаппенранте, он

торжественно приложил руку к груди; мерно качнулось сукно, взлетела вверх накидка, тонкая талия, подпоясанная ремнём из серебряных камушков, сверкала, тяжёлая красная козынка, напоминающая платок для корриды, взвилась над толком; Арви приостановился, лишь руки продолжали движение под абажуром, слабо мерцающим, ибо Арви помнил: надо оттанцевать три часа. У него была цель: заработать, но пьяненький парень из Лаппенранте горделиво откинул волосы со лба и начал вихлять задом, мелко так, мелко пошёл на Арни по кругу, тряся руками. Арни топнул ногой и стал двигаться в такт с приподнятыми вверх локтями, его чёрная рубаха взвилась вверх. Казалось, что сейчас оттуда вылетят лесные голуби и надо будет загадывать желание. Ну, давай, давай! Так мчатся сани по насту, так гремит колокольчик над дугой, так Санта Клаус мчится навстречу огням города. Ну, давай, давай! Арни словно не двигался, его несло ввысь, танцевал не он, а музыка, это была война, снова нападали фашисты, трясли своими ракетами, они хотели друг друга, они отдавались друг другу, шла война за то, чтобы овладеть непокорным народом, взять его, всех взять и мужчин, и женщин, он отдавался Арви, на, возьми – вот я. Вот моя спина, грудь, ноги, моё тело, ну же, ну! Возьми меня, затем я возьму тебя, затем мы возьмём всех людей так, что их не останется, они утонут в наших муках, ибо смерть – это любовь, так взрослый дед отдаётся молодому телу, происходит обмен временем, ты парень Алатау, парень-мираж, парень-моя прихоть.

Это был непристойный танец по своей сути, Арви понимал – поэтому он провёл ладонью возле своего лица, провёл щекой возле щеки пьяненького парня из Лаппенранте. За столом раздался стонущий вопль – что они делают, что вытворяют, мы хотим их близости, мы хотим близости с ними, мы хотим сами себя! Тут потекли вопли – вам, что простых давалок мало? Проституток? Эй ты, сядь, пьяненький парень из Лаппенранте, сядь. Или прочь музыка, прочь загадка мужской плоти, да здравствует женское тело! Кто хоть раз познал умение мужчины любить, тот никогда не станет любить бабье! Кричало тело пьяненького парня из Лаппенранте, никогда! У нас в Европе все такие, вспомните Вагнера, наслаждающегося близостью своего покровителя, жалеющего, что у него нет таких кос, как у его жены – длинных, шелковистых. И кому нужна проститутка, простая, как салат? Никому! А Арви хотел одного – Турью, всегда Турью! Эй, ты, голубой, эй ты, бойфренд, отстань, надо брать машину и ехать к Турье! И вы, почтенные парни финские, расходитесь! Вас ждут жёны, вас ждёт финский суп, финские пряники, финский шоколад дома! У ваших жён тюлевые накидки, потные спинки, рыжие глаза! Пестрые, пёстрые руки! Сиреневые-сиреневые накидки. Самые мягкие, из бархата, из самого тончайшего шёлка, не надо так широко расставлять ноги, нельзя так смотреть на людей! Ах, да у него было имя – Арви! Он забыл его! Помнил лишь другое – светлое, законное, плавающее, лежащее растерзанным и униженным возле дерева. Это имя было Турья!

Ему казалось, что он не танцует, а спит. На кровати. Дома. Кровать деревянная, упругая, к нему подходит мать, её голова замотана в платок, она горбоносая, сухонькая, морщинистая: Деньги принёс? Да! В её ладонь перетекает горсть бумажек. Мать расправляет мятые купюры, горсть сухих кленовых, финских бумажек. Рядом возле деревянной кровати стоит сестра: Принеси, дочь сумку! Зачем? Надо сбегать в маркет, чтобы купить риса, рыбы и сахар. Арви сидит, свесив вниз тяжёлый локоть. Дурачок ласковый. Подходит младший брат. Льнёт к спине Арви, который напоминает тряпичную куклу, в узкой чёрной рубаше с разорванным воротом, откуда видна грудь – вся в засосах от мужских губ, вся истисканная, заласканная. Надо всё забыть! Оставить лишь мысль о Турье. Лишь о том, как она вытирает розовые ягодицы, поднимаясь из-за кустов, как надевает кружево, как бежит к ручью, как моет ручки. Она – ребёнок! Поэтому нежная. Надо забыть ватагу ребят, роющихся в её теле. Надо забыть себя – осмеянного, униженного. Лишь надо помнить – голубые, разнокалиберные глаза. Один прищуренный карий. Второй открытый синий. И смотрит, смотрит Турья с благодарностью на Арви. Отец её, узнавший о поступке ребят, пошёл к учительнице – толстой и уставшей, ибо конец года, а инспектор вышестоящего заведения требовательный и чиновничьи строг. Надо что-то говорить, но отец не может от наступающих рыданий, отцу жаль дочь. Надо это забыть тоже. Но чтобы забыть, надо родиться заново. А отец не может

родиться. У него дальние поездки через всю Финляндию, где вповалку лежат в баках замороженные языки северных оленей. И наступает пустота. Телесная. Словно Арви истерзан в тихом переулке. И лежит на сбитых каменных ступенях. Его чёрная рубаша распорота сбоку. Его ремешок разорван в ключья. Его танец нескончаем.

А ведь скоро меренге!

Было шумно. Гомон растекался в воздухе.

Музыка остановилась. Наступил перерыв.

Арви пошёл к себе. Он не знал рад ли он, или печален. От нахлынувших воспоминаний его трясло. А слёзы словно были вытерты насухо. Милая молоденькая официантка услужливо принесла в закуток бутылку холодной со льдом лимонной воды.

– Пейте!

Немец пришёл следом:

– Не знал, что ты так можешь! На марки! Возьми.

– Это аванс? – Арви положил всю сумму в карман кожаной куртки. Застегнул молнию.

– Нет, это вся сумма. Считай! На сегодня ты свободен.

– Вы сказали – три часа мой рабочий день.

– Уже прошло четыре. Если придёшь в следующие выходные, то получишь вдвое больше. Эти похотливые самцы влюбилась в тебя.

– Я нормальный. У меня есть девушка. И ещё одна – любимая!

– Здесь все не нормальные. Не говори этого. Пьяный мужчина всегда хочет большего, чем трезвый. Мы – Европа. У нас так. И всегда так было. Викинг любил викинга. Скандинав скандинава и ещё одного викинга. Женщины нужны в мирное время. А мужчины на войне. Так ты придёшь?

– Вряд ли... я повторяю, что люблю женщин.

– Подумай. Вот тебе мой номер сотового телефона!  
+ 358-9, затем 8-гудок-10-358-9.

Арви не хотел к Оливе. До тошноты не хотел. Но сегодня должна к ней приехать Турья с мужем и ребёнком. Поэтому он решил, что зайдёт к матери, даст ей денег и затем отправиться к Оливе, которая со страстью перебирала слова в памяти: Илона и Алексей. Алексей и Илона, как заклинание. Обычно после этих слов приходил Арви.

И он пришёл уставший и нервный. И сказал:

– Ложись!

– Хорошо!

Он обладал ей грубо. Просто. Без излишеств. Молча. Как животное.

Он ждал Турью.

Ждал неистово. Но Турья не приехала. Ни днём. Ни вечером.

– Где твоя сестра? Заблудились?

– Не знаю. Мне сегодня на дежурство...

– Возьми деньги. Купи еды по дороге! – попросил Арви

лёжа в кровати. – Там в куртке, сколько тебе надо, бери!

– Может, ты сам купишь всё необходимое? Я опаздываю! – Олива подошла и прижалась к его спине, как младший брат. Тело Арви было тряпичным, усталым. Он был, как кукла. Чужая кукла. Им играли все, кто хотел.

Дверь захлопнулась. Наступила тишина.

И Турья не приехала. Совсем не приехала.

Через три дня позвонили. Незнакомый строгий голос. Спросили Оливу.

– Её нет.

– Передайте ей, чтобы она пришла по адресу Ysitie 9, Doorplat 15.

– Зачем?

– У неё осталась племянница Ноя.

Сердце Арви тревожно забилося, как малец в люльке. Спрашивать что-то ещё было бесполезно. Арви знал, что мир грёз и мир реальности очень отличаются друг от друга. Некая Пустыня Реальности и оазис Мечты. Голая степь и лес. Выжженный простор и чаща, где бродят олени.

Олени...

Много оленей.

Стада.

Олива – это слабая замена Турье.

Ноя – дочь Турьи.

А сама Турья так и осталась лежать в тени дерева. Обгаженная чужими прикосновениями. И лишь один Арви защи-

тил её. Защитил тогда. Но кроме одного раза у него ничего не получилось.

\*\*\*

Ноя плакала. Хочу пить...

Олива с трудом подняла голову от подушки. Арви всё-таки её бросил. Ушёл к матери. Теперь, когда у Арви появилась работа, мать разрешила ему жить у неё с сестрой и братом.

Олива подошла к холодильнику:

– Полбутылки молока. Йогурт. Яйца.

Не любила Олива готовить. Не любила варить кашу. Кипятить молоко. Заваривать чай.

Вчера она жутко напилась. Звонили с работы. Не взяла трубку. Звонил начальник и стал орать?

– Что с тобой? Прекращай. А-то уволю!

– Увольняй!

– Понял. Трудовой договор расторгнут. Напиши, что согласна.

– Я согласна...

Смысла жить просто не было. Арви грубо сказал: «Я Турью люблю. Живу с тобой из-за неё!» «Но Турьи нет. И её мужа больше нет. Есть только два холмика на кладбище ближе к пляжу Хиетаниеми». «Я знаю». «Мне больно, Арви! Я лишилась сестры и любимого! В один день!» «У тебя осталась Ноя! Живи ради неё!» «Я не могу так! Не могу без тебя!

Как ты можешь любить потаскуху Турью?»

Арви пришёл днём. Ноя спала. Олива была мертвецки пьяна.

Так дело не пойдёт!

Арви, скрипя зубами, прибрал комнату, приготовил оленину в соусе. Открыл окно, проветрил, выстирал в машинке вещи, сваленные в углу.

– Тебя лишат ребёнка! Ноя твоя племянница.

– И пусть! Мне нет смысла жить! – Олива с трудом поднялась и пошла в ванную комнату.

– Жаль...

– Ничего тебе не жаль! Врёшь. – Олива запахнула халат, морщась. Она даже не стала закрывать дверь, опорожняясь.

– Не кричи. Разбудишь девочку.

– Возьми её себе.

– Слушай... успокойся. Что ты хочешь?

– Женись на мне. И Ноя будет твоя! Ты же любишь говорить – частица Турьи. Капля Турьи.

Бери. Удочеряй. Пипец какой-то... мне плохо...

Олива села возле окна и закурила.

– Тогда бери себя в руки.

– Зачем? – Олива посмотрела на Арви с удивлением.

– Завтра пойдём к моей маме. Знакомится. Иначе жениться не смогу. И на работу сходи. Извинись. Восстановись в должности.

– Ха! Вспомнил про должность.

Глаза Оливы налились слезами. Они потекли по подбородку.

– Не будем ссориться. Давай не будем! Я ужин приготовил. Ну, иди ко мне! Иди!

Арви обнял Оливу. Бедная, бедная, глупая... Она дрожала. Руки были как лёд. От неё несло перегаром и сигаретами.

Но она охотно поцеловала Арви в губы. Затем села за стол и стала жевать мясо.

Ноя проснулась через час и протянула ручки к Арви:

– Дядя, дядя...

Девочка долго с наслаждением пила чай. И ела печенье.

Кусок оленины она сжевала тоже с радостью.

Заживём!

Будем!

5.

Надзорные органы и гейство – это ещё на самые страшные черты Финляндии. Куда страшнее славянофильство, неистовая любовь ко всему, что южнее. Есть, конечно, славянофобы. Снобы. Демократы ярые. Фашисты. Молодчики-нацисты. Ненавистники.

Причём жестко и жертвенно.

Убить всех. Оставить истинных финнов.

Но есть и такие, кто влюблён до неистовства в варварскую

Россию.

Арви уже не боялся потных рук мужланов. Они его трогали, как умели. Но танцор схитрил и заставил немца подписать с ним договор-указ, в котором было написано, что никто не смеет принуждать Арви к прелюбодеянию: ни какой посетитель, любого пола. Ни человек, ни собака, ни иное существо. Иначе штраф до миллиона марок. Вот ровно миллион. Любой покусившийся на Арви – платит тут же финские свои марки и идёт себе куда подалее. Договор был заверен в нотариальном порядке и подписан судьёй. Подкреплён печатью такой синей, такой яркой. И даже эти похотливые, вечерние на ушко шёпоты утыкались слезливой пьяной мордой в договор, где значилось, я не хочу стоять с тобой, нигде не хочу, потому что не хочу, не знаю где и не знаю зачем, в очереди, в буфете, в гостинице, в автобусе, на площади, рядом с конём, возле коня, вместо коня.

Знаю, убежать невозможно! Ибо мне надо кормить отчаянную Ною, беречь того и гляди готовую сорваться в пьянство Оливу. Не говори! Не говори, просто смотри и гляди, какой я! Я Арви танцующий, Арви сладкий. Арви-музыка сама! Потому я скажу тебе: они пели, все пели, насытившись пенным до отключения мозга. Они пели. И ты просто слушай: ты должен эту слышать потому, что я скажу тебе – отстань. Ни за какие деньги! Я не хочу стоять с тобой в туалете, пробуя твои руки на вкус, твоё тело на сладость, которое корчится от желания. Меня желания. Тебя желания.

Я не хочу стоять с тобой ни утром, ни вечером, ни ночью, ни в полу-вечерье, во тьме. Прижавшись щеками, глазами, лицами, плечами, Просто увидев меня, иди к врачу, лечи больную голову. Прячься, умри, умири себя, сядь на скамейку, ляг в кровать, я – безысходность, я дикий, не цивилизованный, не европейский, не модный, я женатый, у меня дочь Ноя. Ты вытри от слёз свои глаза, вырежи зрение, выпотроши его, чтобы меня не видеть, какой я сладкий, вожделенный. Знаешь, ты развратник, я люблю Турью. Но она мертва! Я люблю Турью. Но она не знает об этом потому, что я её спас. Но не сумел оградить от смерти. Я хочу стоять только рядом с ней, трогать её, ласкать её! У меня болят глаза, когда я вижу её, и никакой врач не может мне помочь не видеть её во сне. У меня болит слух, когда я слышу её голос в видениях, и я хочу отрезать свои уши по куску, как Ван Гог, как два Гог, как три Гог, тысячу Гог. Я хочу лежать с ней, никогда не разлучаясь, хочу сидеть и держать её на коленях. Если бы она воскресла! Сейчас! Я бы пошёл с ней на войну, в войну, в любую, лишь бы шла война, лишь бы можно было воевать, убивать врага, сидеть на трупе врага, лечь возле убитого и видеть, как из его кишок выползают белые опарыши. Я хочу стоять и гладить плечи Турьи. Гладить щёки Турьи. Живот Турьи. А ты убери свои грязные потные ладони.

Ты кричишь:

– Они не грязные! Они мытые.

Но это не значит, что они чистые!

И лишь однажды! О, зрение! О, слух! О, я сам, танцующий, как нерв, увидел Турью. Или женщину похожую на Турью. Это была сестра. Она пришла в бар, где работаю я. Надела платье сестры, туфли сестры, сделала причёску, как у сестры – высокий кокон на голове из сизо-синих волос, такую копну волос. Нарисовала веснушки на щеках, накрашила губы вишнёвой, кровавой помадой. Села рядом с мужчиной, похотливо смотрящим на меня, взяла его за руку и засмеялась хохотом Турьи. Я чуть не сошёл с ума. Я схватился за голову, словно пытаюсь её оторвать от шеи и кинуть к ногам этой великолепной женщины. Я заорал так, что зал затрясся:

– Танцуем все. Как я, со мной. Идите!

Я позволял им трогать меня, касаться моих губ, моих рук, моих волос, моих ягодиц и моих ляжек. Турья хохотала, глядя на происходящее:

– Так вот как ты работаешь! Ты наслаждаешься любовью к себе, а сам никого не любишь из живых! Любишь мёртвое, гниющее в земле тленное тело! А я, дура, люблю тебя. Всего полностью!

– Вижу, танцуй, Турья моя! Или сюда!

Арви касался тела её и глаз языком. Его голова была рядом на уровне головы любимой.

И лишь когда включили свет, то Арви увидел Оливу:

– Бежим! Бежим отсюда. Тут страшно. Дико. Они все – звери. Они разорвут тебя в клочья когда-нибудь, если ты им не дашь то, чего они хотят!

– Да! Я знаю. Это опасная игра!

Арви схватил Оливу за руку, выскочил в коридор, рассыпая деньги по карманам. В машине Олива немного успокоилась. Стихла.

Тебе надо увольняться отсюда...

А кто будет кормить тебя, мою маму, сестру, брата, Нюю? Ты вечно с похмелья. То опившаяся, то обнюханная...

Я более не стану пить и нюхать.

Не верю...

В Финляндии все так. Не верят.

Лишь Пьета парит над небом Хельсинки.

6.

Но вдруг Арви исчез. Не появился утром. Ноя всё утро спрашивала, где дядя? Почему он не даёт мне овсяную кашу и варёное яйцо. Зачем ты, Олива, оставляешь меня с няней, а сама уходишь? Я хочу видеть дядю Арви!

– Я тоже хочу. Ещё как хочу! Но я обещала Арви, что стану ходить на работу, и я стойко выдерживаю своё обещание! Поэтому сегодня побудешь с няней.

– Только один день? – Ноя была настойчивой и упрямой, как Турья. Мёртвая Турья.

– Наверно...

Неуверенно пообещала Олива. Краски меркли без Арви, день тускнел, где ты мой Арви? Где твоё тело? Где твоё всё? Ты всё-таки бросил меня. А ведь обещал быть рядом.

Мой рыцарь, мой мальчик, мой веснушчатый, пахнущий пивом не выпитым и селёдкой несъеденной, пахнущий детством, взрослостью, любовным соитием, сонным потом, вождением. Когда Олива видела Арви, то внутри начинали летать бабочки, такие мягкие, такие цветные. Пёстрые руки Арви гладили щёки Оливы, и она становилась шёлковее шёлка, ситцевее ситца, льнянее льна, она становилась рыбой послушной и глупой. Мой широколицый жених отчего ты ушёл вдруг? Исчез? Все звонки бесполезны. И твоё молчание тяжело. Но оно даже в трубке твоё. И поэтому бесценно. И эта больница, кишущая больными людьми, страдающими людьми. Честно сказать, медицина в Финляндии так себе. А в Хельсинки и вовсе. Куча чиновничьей волокиты, неспешности, не сосредоточенности. Лишь оплата счетов перед началом лечения имела вес. Восстановиться на своё прежнее место Оливе не удалось, она значительно потеряла в зарплате, перешла на должность санитарки. Но зато спроса было меньше. И ответственности почти никакой. Олива часто брала деньги от больных. Они сами клали в карман её халата мелкие марки. Например, сегодня Олива подмывала полуживую старуху. Соседи за перегородкой попросили сделать это. Ибо воняло сильно. И лежала старуха обернутая пристанью, неделю немытая, вся в синей плесени. В молодости она была красивой, знаешь, какой она была весёлой? Она была пестро-волосой, широкоглазой, как лягушка, что из сказки, которую вот-вот возьмёт в жёны принц. Она решала труд-

ные задачки в школе, учила маленьких таких же пестроглазых детей. Она помнила Арви мальчиком. А Турью девочкой. Она помнила, как Арви спас Турью. Не надо было, сама виновата, что так напилась и улеглась под деревом. Шла бы домой, валялась на диване, так нет, побоялась, что отец ругать будет. Дура.

Такой красивый Арви, такой любимый Арви! Всегда твой Арви. И лишь немного мой. А знаешь, какой он в кровати? А я знаю. Я нюхаю его рубахи, его носки, его штаны, его кожу. Я трогаю его, где хочу. Арви прочитал все книги в школе. Он умный. Арви даже чужие книги прочёл, все решил задачки по математике. Турья ничего не читала, была ленивой и толстой. Турья лишь ходила по двору и вихляла задом, а Арни её любил. Ни за что любил. А я – Олива прилежно училась, отвечала на уроках, не опаздывала на контрольные работы, выполняла все задания. Поступила учиться в высшее учебное заведение. И тоже прилежно сидела в читальных залах на абонементах. Турья вышла замуж сразу после окончания школы, вышла замуж за первого попавшегося жениха, который был из другого района, он увёз Турью на север, в посёлок, в дом на отшибе к богатым родителям. Где Турья ещё больше растолстела на масле и молоке. Она кормила утром овец, гладила их спинки. Чистила клетки кроликам. И родила Ною. Мужу Турьи пришла повестка, он уехала на три года, чтобы учиться стрелять из финских пушек. Свекровь и свёкор умерли от гриппа, причём оба сразу, Турья осталась од-

на с Ноей, овцами и кроликами. Арви хотел сорваться и поехать к ней, чтобы помогать ей чистить клетки и пасти овец, но мать кинулась в истерику: кто будет кормить нас? Арви сказал, что вернётся скоро. Через три дня. Но три дня были, как три года. Три столетия. Мать Арви была тоже ленивой, с крючковатым носом женщиной. Она не могла найти работу, лишь умела стирать чужие портки. Сначала она наливала воду, пытаясь сэкономить на счётчике, затем ждала, когда вода сама нагреется до комнатной температуры, клала щёлок, порошок и тёрла щёткой коричневые пятна. Затем полоскала бельё в чистом тазу, выжимала и сушила. Ей платили небольшие деньги, на которые возможно было купить риса, масла, чая, немного оленьей тушёнки. Денег на учёбу не хватало. Даже инспекторша пригрозила интернатом. Но мать была хитрой и ловкой женщиной: она научилась делать разные уловки и избегать ссор с инспекторшей.

– Мой бывший муж ветеран, заслуженный финн, он ушёл от нас к другой молодой и важной женщине высокого чина. Я позвоню ей, она работает в парламенте. Вы же не хотите, чтобы вас уволили?

– Когда ваш муж бывает у вас?

– О... семь лет, как прошла война. И пять лет, как кончилась война. И три года уже, как все раны зажили. И все натовские войска прошли у побережья. И все корабли проплыли. И викинги женились на викингах... и знамена пронесли, и винтовки пронесли, и пушки отгремели. Ещё немного, и

мой муж придёт. С вами также может случиться. Много молодых женщин есть. Много красивых есть! Мой старший сын скоро закончит какой-нибудь учебный класс и станет хорошие деньги приносить в дом.

Олива хорошо вымыла старушку-учительницу, протёрла её желтую кожу ароматным маслом, пазухи носа прополоскала мандариновой водой. Ногти наредила розовым перламутровым лаком. Расчесала жидкие масляные волосы, красиво уложила пучком на затылке. Вымыла ей руки, вымыла ей ноги.

Также перемила всех стариков.

Поставила всем грелки.

Дала судна.

Вынесла судна.

Принесла всем чай.

Дала молока.

После дежурства Олива устремилась в кафе «Holidays», она ехала на такси. На жёлтом, как ириска. В холле никого не было. За барной стойкой тоже. Олива вошла в зал, милостивая официантка показала рукой – иди дальше. Но коридору!

Арви лежал на диване. Пьяный в стельку. Его штаны были порваны, ширинка вырвана в клочья.

– Ой, ой...

Олива попыталась разбудить мужа. Бесплезно. Она тряс-

ла его за руку и плакала. Затем взяла себя в руки. Принесла тёплой воды, омыла Арви, также как старуху, руки, ноги, лицо протёрла влажной тряпкой, нектарной водой вымыла ему живот. Зашила ширинку грубой сиреневого цвета нитью, отстирала пятна крови. Расчесала волосы. Подстригла ногти на руках и ногах.

– Будешь теперь, как новенький. Что было, то было. А может ничего не было...

– Тогда откуда кровь на штанах? Чей олух это сделал? Чей злой умысел?

– Того следовало ожидать...

Олива сидела долго, до самого вечера. Она мыла и мыла. Тёрла и тёрла пол. Стол. Занавески отряхнула от пыли. Протёрла грязные окна. Даже потолок отмыла от жёлтых пятен грязи.

– Это была Турья.

Прошептал Арви. Это она меня всю ночь мучала. Она поила меня шампанским, хохотала. И я отдался ей.

– Это были твои галлюцинации! Пошли домой, Арви! – Олива потрогала карман его куртки. И отскочила. Десять пачек крупных купюр тяжело оттопырили складки ткани. «Надо Арви купить новую одежду! И уехать отсюда куда-нибудь подальше. Например, туда, где сиротливо стоит дом Турьи...»

– Слушай, Арви, пошли домой. Ноя тебя ждёт. Всё утро спрашивала, где ты? – Олива нежно погладила Арви по ще-

ке. – Вставай. Уже все встали и разошлись по домам. Уже все солдаты отвоевали. Школьники выучились. Выросли и поженились. И нарожали новых детей. А ты всё спишь!

– Не могу. Я обещал Турье, что буду её здесь ждать...

– Турья умерла.

– Не ври.

Арви сел резко на диване.

– Она была здесь.

– Ты просто выпил лишнего.

– И что?

– Она была, была...

– Хорошо. Пусть так. Но сейчас её нет тут.

Арви провёл рукой по штанам. Кровь сочилась крупными каплями.

– Тебе надо в больницу.

– Нет. Всё, что сделала Турья священо.

– Что она сделала? Расковыряла твои кишки? – Олива в отчаянии склонила голову. – Ты истечёшь анальной кровью.

– Пусть...

– А я снова сопьюсь, унюхаюсь и потеряю Ною...

– Да. Ты это можешь сделать! – трезвея, воскликнул Арви. – Вызови медицинскую помощь. Буду лечиться.

Дома Олива застала Ною одну, без няни. Девочка сидела у окна. И повторяла, что якобы видела маму. «Да вы что с ума посходили? Я сама схоронила её останки. Я видела обуглен-

ные кости, я обозревала нутро гроба...»

– Ладно, Давай ужинать!

– Что мы будем есть? Ты не умеешь готовить. Лишь дядя Арви может варить кашу и яйцо. – Ноя резко отвернулась.

– Дядя Арви заболел. Его положили на лечение. А яйцо я тебе сварю очень вкусное.

– Всмятку?

– Нет. Но это будет нормальное крутое яйцо с белой шкуркой! Поняла!

– Нет. Не поняла...

– Ты его просто очистишь. Снимешь шелуху и съешь.

Олива подала яйца с горчицей и салатом.

– Ты научилась готовить!

– Вы кого хочешь выдрессируете со своим дядей Арви.

Когда Олива, сморившись от усталости уложила Ною в кровать, прочитав сказку на ночь, то вдруг сама вздрогнула от того, что какая-то лёгкая тень проскользнула за окном. Фу! Прочь! Прочь, нечисть! Олива зажгла свечку и обошла дом вокруг, утопая в снегу. Она повторяла – прочь. прочь, нечисть! Только тебя мне не хватало!

Вырученных Арви денег хватило на хорошее вложение в кассу, там пообещали высокие проценты по вкладу. И это было правдой. В Финляндии с деньгами не шутят.

Тем более скоро сочельник. Новый год. Рождество. Надо будет идти в католический храм. В костёл Святого Петра.

Ночью Олива резко проснулась. Затем она долго лежала и думала о своих русских, ставших талисманом для неё. А утром решила: позвоню. Спрошу, как у них дела. Олива запаслась разговорником. Подчеркнула нужные выражения и стала звонить по указанному номеру телефона. Ей ответила Илона.

– Знае-ешь, – залпом выпалила Олива, – я тебе наврала. Микула твой был жив, когда вы спрашивали. Я обманула потому, что мне нужен Арви. И вы мне принесли немного удачи.

– Олива. Я всё поняла! Я тоже подумала: ты не скажешь правду. Это рискованно для тебя. Я умная женщина! – Илона произносила слова медленно, справляясь с переводчиком с русского на финский с трудом.

– Что будешь делать?

– Ничего. Это Угольников Алексей искал нациста и убийцу своего деда Николая.

– Скажи тогда Угольникову, что я вруша.

– Не смогу...

– Отчего. Он тебя бросил?

– Тут иная ситуация. Сразу после возвращения в Россию, Алексей уехал к заболевшей жене. И мы более не виделись. Да мы и не любовники, так просто... познакомились в дороге. А тут звонок жены – больна, умираю, лежу в больнице, дети одни, бегом домой в семью. Более Угольникова я не видела... а вот Микула – он и вправду преступник.

– Если увидишь Угольниково, то скажешь ему?

– Вряд ли я его увижу...

– А позвонить?

– Я потеряла записочку с номером.

– Что значит «записочку». Плохо понимаю слово...

– Олива. Это такая салфетка, сложенная втрое. Которую Алёша мне передал в автобусе. Но когда я приехала домой, то постирала куртку, салфетка просто развалилась на части.

– Зачем стирала?

– По дороге произошла небольшая авария с автобусом. С этой старой ключей. Я упала на пол, вымазалась, как чёрт. Затем очень переживала, сама себя ругала... ну всякое такое...

– Ясно.

– Олива, может, чуть позже, когда смогу немного подкопить денег, то поеду в Хельсинки снова. Хочу зайти к твоей подруге Вето, чтобы узнать судьбу этюдов.

– Зачем тебе это надо?

– Художник просил. Как-то неудобно... словно я причастна к этим событиям. Хотя... не я виновата. А стечение странных обстоятельств...

Прошло три дня.

Четыре.

Пять.

Неделя.

Арви всё ещё находился в больнице.

Что с ним случилось так и осталось загадкой.

Странное, загадочное, совсем непонятное и ненужное событие.

Ох, уж эта холодная, злая Финляндия! С её модой на всё западное, ибо сама – запад и север одновременно. Если помните, то раньше была мода на юбки, но она сменилась брюками. Была мода на тёмные одежды, но она сменилась на светлые костюмы. Была мода на длинные брюки-клёш, она сменилась на короткие бриджи и шорты. Была мода на болонь, которая сменилась на ситец в клетку, была мода на куртки и пальто из кожи, но она сменилась на фильдеперсовые куртки, была мода на шапки смушки, ушанки, но она сменилась на шляпы, картузы, будёновки, была мода на мужчин и женщин, но она сменилась на трансов, была мода на людей с руками и ногами, но скоро она сменился на безруких и безногих, а также слепых глухих и немых.

Мода – штука переменчивая.

Сейчас в Финляндии мода на худых, и многие делают себе пластику, резекцию, экзекуцию. Восток принёс моду на харакири.

Юг принёс моду на многожёнство и многомужество.

А немцы всегда были бисексуальны.

Карл любил молодых юношей.

Генрих любил старых дев.

Олива любит Арви.

Но ей стало трудно справляться с Ноей. Няня могла неожиданно свинтить и оставить ребёнка одну дома. Арви не желал поправляться. И Олива направилась домой к его матери, она знала, что каждый викент тот ездил навестить их. Ты смотри, мать-матерей, мы пришли, мы приходим в твои комнаты, как рассвет и луна одновременно. Я и Ноя. Мы раздеваемся в прихожей, мы раздеты от всех одежд, от всех платьишек, штанов, от всех Вавилонов, от всех Азий, Марий, Пьет, вот сюда мы повесили в платяной шкаф крохотную Грецию, Болгарию, Азию, Финикию. Ты тоже сними с себя представления о нас – обо мне и моей племяннице Ное. Сними и положи на полку мать-матерей, мать моего возлюбленного! И сядь-таки сюда на стул. А мы расположимся в кресле, рядом с братом по имени Йоуко Аапо Аарне Аймо Алпо Антеро Антти Армас Арви Арво Аско Аулис Ахти Вейкко Веса Вилхо Вильё Виса Вихтори Вяйнё Илкка Илмари Инто Йорма Калерво Калеви Калле Кари Кауко Ку-ста Лаури Лео Маркку Мартти. Матти Мауно Микко Нийло Ойва Олави Олли Онни Осмо Отто Паасо Пааво Паули Пекка Пентти Пертти Пиетари Пиркка Раймо Рейо Рейма Рейно Ристо Ройне Сакари Сантери Сеппо Симо Суло Тайсто Тармо Тауно Терхо Теуво. И с сестрой по имени Хилья – тишина, спокойствие, София – мудрость, Айно – единственная, Эмилия – сильная, старательная, Ясмин – жасминовый цветок, Элина – сияющая, Тула – ветер. Ритва – веточка. Каарина – чистая, Киело – ландыш, Лайна – волна, Анелли – бла-

годать, быть милостивым, Лииса – клятва – мой Бог, Хелена – факел, Мария – всеми любимая, желанная, Анейма – просить, Ауликки – благодать, миловать, Илма – воздух, Илта – вечер. Рядом с картиной Лазаря, книгой про волка и распятием Христа.

– Вот тебе деньги. На обед. На ужин. На полдник и завтрак. В Финляндии едят три раза в день. Ты ешь четыре раза. И собирайся, я отвезу всех вас в дом моей сестры Турьи и её мужа. Но не бойтесь, их там нет. Они здесь в суровой Хельсинской земле, в могилах, которые продолбили могильщики. И теперь точно всё откинута, озарено, освежено, закопано, поставлен памятник, где написано – «сестра Турья и Матти буду помнит вас всегда». И теперь оба прекрасны и безгрешны, они мои девочка и мальчик, чистый, снежный, финский мальчик: они оба для меня. Как ламбада. Когда я им звоню по телефону, то чёрный ангел сторожит на входе звонка и блокирует мой разговор. Но всё равно я говорю. Я рассказываю им про Ною. Смотрите, как выросла. А я бросила пить, курить травку, есть чёрный хлеб тоски, пить зелёное вино грусти. Мне комфортно с моим Арви. В Финляндии в это Бвляндии любят две вещи: тепло и комфорт, то есть вкусную еду, пиво и катание с горки. Собирайтесь.

– Я не хочу никуда ехать. Мне привольно тут. Дети ходят в школу. Йоуко и Хилья помогают мне стирать подштанники соседям. – Мать-матерей потёрла свой крючковатый нос. И положила руки на колени, только костяшки торчали.

– Деревня называется Оулу.

Ноя повернула голову, когда Олива произнесла это загадочное название. Там жили когда-то известные Семья Ромпайнен и Антилла. Деревня абсолютно заброшенная, но люди трудолюбивые. Они облюбовали заправку заброшенную и никому не нужную. Ибо люди уехали, бензин закончился. Совсем! Рядом деревня Юнтусранта. Люди постарели и умерли. И Чёрный ангел не даёт с ними иметь связь.

– А как же моя мама? – спросила Ноя.

– Какое милое дитя...

– Мама всегда есть. У неё тёплый голос, она всегда есть, всегда здесь... Она танцует с Машей русской невиданный по красоте танец. Она смеётся и спрашивает: как там Ноя? Что она рисует?

– И что ты, Олива, отвечаешь?

– Как я могу ответить, если ты сейчас не рисуешь? На, возьми, вот тебе карандаши твои и тетрадь. Или альбом. Хочешь альбом?

– Да! – кивнула Ноя.

Мама-мать принесла небольшую дощечку вместо стола:

– Располагайся.

– Итак, мы едем? – снова спросила Олива. – Там будет у вас всё. Большой тёплый дом. Домашнее хозяйство. Еда. Одежда. Природа. Лес. Река.

– Но там нет школы, – возразила мама-мать. – Нет соседей. Нет подштанников...

– Знаешь, мама-мать, скоро выйдет мода носить их. И у вас не станет работы. Но в своём доме в Юнтусранте вам не нужна работа: вас будет кормить стадо домашних животных и стая птиц. Вам надо лишь за ними ухаживать. А школа недалеко, можно будет туда ездить учиться всем троим – Ное, Йоуко и Хилье. Вы же помните сказку про Щия, Хори-ва и Лыбедь? И про их корабль.

– То-то, милая Олива, что это сказка. Наяву всё иначе. Протянешь руки – пустота. А кажется, что человек рядом. И у него есть нежная кожа. Такая нежная...

– Хорошо. Я понимаю. У вас будет автомобиль свой, семейный, – мягко возразила Олива.

– Зачем он нам? Я не умею водить.

– Сейчас не трудно этому научиться.

– Я! Я! – Воскликнул Йоуко. – Я умею!

– Откуда такие навыки, Йоуко? Кто тебя учил? – спросила мама-мать.

– Единожды я ехал сто километров в час. Несколько миль по дороге. Я знаю, где находится Юнтусранта.

Мама-мать поцеловала сына в плечо. Она его прижала к себе. И она всё время его целовала. Как божество. Как ангела. От мамы исходила теплота, как от большой шерстяной собаки.

– Там нет богини смерти. Там есть – очарование! Даже самые старые и толстые там становятся красивыми.

– А ты, Олива?

– Я похлопочу. Но, обещаю, что позже я уговорю Арви, чтобы он тоже переехал к вам. Ему тут нет смысла оставаться. Просто сначала ему надо выздороветь...

– Что с ним? – мама-мать обеспокоенно повела плечами. Ноя нарисовала большой корабль, а Хилья заварила чай с душистыми травами. И она подошла к столу, такая милая, худая, синеглазая Хилья, она шла и, казалось, что с ней вместе идут её наряды: юбка в клетку и кофта из шотландки.

– Арви временно приболел. На работе. Поранился... – уклончиво ответила Олива, краснея всем лицом от своего вранья. Она уже во второй раз солгала. Сначала Угольникову и Илоне. А теперь матери-маме. Но у неё не было выхода. Она и сама не знала: что с ним? Кто с ним? Как с ним? Отчего с ним? Хотя знала – зачем! Ибо он такой красивый. И музыкальный. И он сказал Оливе: «Пойдем теперь навсегда...» А Олива ответила: «Зачем пойдём. Давай останемся тут. Ведь куда ты меня зовёшь, там – смерть. Он ответил – «Смерти нет. Не думай ни о чем теперь и всегда, и завтра. Нас всех зовёт Турья...», Олива сказала: «Хорошо. Если любишь, идём!» Арви ответил – люблю только Турью, тогда все останутся в Финляндии. «Тулуки, тулуки» – так мы будем звать телят, чтобы покормить. У нас будут вёдра с фуражом, и телята будут выглядывают из-за перекрытий загона в ожидании еды. Если честно, то это ОУЛУ... Там Арви ещё больше проникнется любовью к Родине после того, как познакомится с размеренной сельской жизнью...

Мама-мать преклонила голову.

– А дом-то хороший?

– Да! – ответила Олива. – Это дом моей сестры и её мужа.

Он жили зажиточно. И это была их давняя мечта о жизни в бревенчатом доме на берегу озера. Я могу подрабатывать медсестрой

в Суомуссалми. Мы будем проезжать более 100 000 километров в год... Однако в финансовом плане будем более обеспечены, чем в городе. Детям можно будет кататься вдоль леса на велосипедах, ловить рыбу и разводить костры, когда захочется.

– А как топливо? – осторожно спросила мама-мать

– У нас будут запасы соломы и дров, а в больших морозильных камерах значительные съестные припасы. Несмотря на затраты на электроэнергию и большие расстояния, мы не станем скучать по городу.

– А как магазины? Где купить хлеб?

– Мы сами его будем печь в больших удобных кирпичных мангалах. Там есть всё для жизни. Смотрите фото!

И Олива открыла галерею в телефоне:

Смотри, смотри!

Арви сидит, как будто правитель, генерал чухонский! И от него исходит во все стороны тепло. Жар! Он дарование свыше. Там в Оулу возле Юнтусранте ему будет спокойно. И хорошо. Иначе тут его может настигнуть дева с белой кожей. Вот она – на фото толстая и старая, идёт по улице в

сером пальто, но под ним белое смертное бельё. Она эта дева-смерть меня лишает света, отнимает последний луч. И я не люблю эту деву-смерть. эту Машу-смерть. Эту Турью-жизнь, потому что она тоже смерть-его жизнь. Вот такая загадка души его. Арви. Арви. А он отвечает: я сам решаю всё. Сам. И врачи говорят: он сам выберется из этих обстоятельств. Надо время. А нас нет его – нет времени. Нам надо спешить. Ибо дева-смерть его любовь. И я пишу ему. И говорю с ним. И я не лгу, как лгала Угольникову, ибо видела там под рубахой волосы, под ними кожа, под кожей рёбра, под рёбрами мёртвое сердце, колотящееся и стыдящееся самого себя.

Ведь мы – ижора, воть, весь, корела, – издревле населяли территории по берегам Финского залива, реки Невы и Ладожского озера. Ведь мы земледельцы, рыболовы, охотники скотоводы. Ведь мы "Из варяг в греки", "Повесть временных лет" и мы летопись и Великая Скифь в нас. О нас пишет упсальский епископ Стефан, как о языческом народе ижора, который в тексте встречается, мы – "ингры". Мы слабые, ибо с 1155 года находимся под властью шведов, после того, как шведский король Эрик IX совершил крестовый поход. Но мы всегда были и есмь с 1228 года союзниками Новгорода. Мы устали от шведов, когда в 1237 году Тевтонский орден осуществил экспансию в Прибалтику, захватив Ливонию, и укрепился на русских рубежах, основал крепость Копорье. И копыя вздымались. И кровь дымилась! А в 13 веке большая

часть ижорцев, вожан (водь) и карел принимает православие. И есть такая Водская пятина, получившая название по народу водь. Несколько западнее была построена крепость Ям (ныне город Кингисепп) О, о! Яаски, – ныне посёлок Лесогорский Выборгского района, Огребу – Корельские погосты. Кто в Карелии самый талантливый? Кто? И помните деревянных рубленых истуканов? Ну, что едем?

Да...

Мама-мать собиралась недолго. Надо было к вечеру приехать в Оулу.

6.

Вставай, моя Турья, моя любимая, ты погибла поэтому, вставай! И музыка вся в тонких рубашках, в тёмных, коричневого цвета брюках, и архаические бубны в ней, как мёд из лепестков роз, как халва и лук. Это было похоже на свадьбу. Арви высился, что в Османии минарет, что купол, что византийский корабль. Таким он был красивым в этом танце.

Так было в эту ночь. Оглушительную, звёздную, просторную. Вдруг он увидел лицо Турьи. Перед ним. Явственно и невозвратно. Он протянул руки, лицо чуть отклонилось. И взмыло, как листок клёна от ветра. Клён – это флаг Швеции, чёрный цвет – это траур. Но Турья сбросила, как платок смерть. Её голые плечи сияли белизной. Иди, ко мне! Иди! Казалось, что она живая. Хотя и нарисованная. Кто тебя запечатлел? Спрашивать было не у кого. Простой, летя-

щий на бумаге штрих. Целое племя ижорцев и вожан восседали возле стола. А где же финны? Турья стояла, опираясь на перила. Она стояла, но словно возлежала на кровати: Иди ко мне! Арви сделал шаг. Ещё один. Толпа визжала. Финны смотрели на Арви, который влез на стол и стал двигаться в такт фламенко. Его ягоды блестели, торс извивался ужом, голова пламенела кудрями.

– Ещё, Арви! Ещё!

Руки сами тянулись к танцору, каждый имел возможность прикоснуться к тёплой коже, каждый мог погладить натёртый маслом и кремом стан. Красная ткань порхала над Арви, вокруг был свет, сияние, молнии. Исчезли все войны, боли, страдания. Лишь Арви с его цыганскими кудрями, беззащитный перед всеми.

Управитель немец воскликнул: Арви, вернись на сцену. Тебя истерзает толпа. Они сделают с тобой всё, что захотят. Пожилые дамы с седыми волосами визжали: Арви! Молодые финны пьяные, как все корабли Арго, трубили в рог. Вино текло рекой. Текли деньги в казну кафе.

Иди ко мне Арви.

Я встала.

Ты просил.

Я пришла.

Даже мёртвая я могу идти! Твоя Джой-Турья! Смотри какая я! У меня грива кобылицы, зубы овсом вымазанные, язык, блуждающий в твоём рту, впадина между ключиц. Иди

уже. Не бойся. Но вначале выпей этот кубок до дна! Арви послушно сделал несколько глотков. Вино пролилось на рубаху, Турья погладила его по щеке. Затем ниже. И ещё ниже. Идём. Иначе видение закончился. Турья может распасться на части. Джой, Турья. Не джой-Турья.

– Вернись! – вопил немец, видя, как Арви следует за мужчиной, одетым в женское платье, -

Это не Турья.

– Нет. Турья! Джой-Турья. Или почти Турья...

Официантка подошла сзади, вцепилась в шею Арви: я тоже улетаю, распадаюсь всем телом, Джой, ты обещал деньги!

Да!

И Джой засунул в карман Арви несколько пачек финских марок.

Всего ночь. Одна ночь. И ты – богат. А потом исчезнет Джой-Турья. Всё исчезнет. Останутся мама-мать, Олива, Ноя, Суомуссалми, Оулу, твои брат и сестра. У вас будет машина.

Какая машина? Зачем машина?

Молчи. Припади ко мне, И просто молчи. Я твой Джой-Турья. Официанта попыталась плеснуть ведро с водой, чтобы отрезвить Арви, вернуть в действительность. В реальность. Но лишь намочила его цыганские смоляные кудри. Кудри ижора и нави.

– Арви! Зачем тебе танцы? Займись политикой!

– Политика – грязное дело. Политика – это война Я хочу мира.

– Мир тоже грязь. Всё грязь. Твоя похоть – грязь. Ты изнываешь от желания. Займись делом, Арви...

Джой-Турья взял Арви за руку, потянул к выходу на улицу, пригласил в автомобиль. И они уехали...

– Он сумасшедший! – воскликнул немец. – Какой позор! Теперь станут говорить, что моё кафе – это пристанище!

Официантка села на выступ возле кафе и горько заплакала.

Он пьян... просто пьян...

Утром привезли Арви обратно. Его вынесли на носилках из автомобиля и уложили на диван в нише. Накрыли одеялом.

– Кто это сделал? – спросил немец.

– Какая разница? – слышалось в ответ.

– Про какую Турью твердил Арви?

– Смешно... Турья умерла... как о ней можно говорить? О ней надо петь! О ней надо танцевать. О ней надо плакать!

– А кто такой Джой-Турья?

– Никто. Его не существует. Это галлюцинации, вызванные сильнейшим напитком.

Более никто не видел посетителя по имени Джой.

Более никто не видел танцев Арви.

Более никто не слышал волшебных звуков барабанов. И

зурны.

Всё появляется из ниоткуда и исчезает в никуда.

И Никуда вечно. Ниоткуда в нас.

Дороги в Финляндии гладкие, как морские свинки. Семейство Ромпайнен и Олива Антилла ехали себе на семейном автомобиле Tunturi Super Sport. Оулу уединённое место. Дом был бревенчатый, круглый чистые лакированные русские кругляши, не иначе. На первом этаже камин, полы с прогревом, кухня, печь, что ещё надо людям, убегающим от неприятностей? Тем более в кармане у Оливы Антилла была хорошая сумма денег, а ещё пара тысяч на выгодном счёте, по которому можно получать каждый месяц хорошие проценты. Их вполне хватало на еду, одежду, дрова, бензин, а также на еду телятам, которые планировалось прикупить на рынке.

По дороге, когда петляли уже перед самым Оулу, решили остановиться возле небольшой закусочной, дети устали, Ноя хныкала, как маленькая мышка, которую тянут за хвост. Олива вспоминала, как прихлопнула мышонка в своём кабинете. Остановились и заметили, что рядом припарковался туристский автобус на небольшой площадке, мощённой серыми, тёмными плитками, как в самом сером и неярком Хельсинки. Олива подумала, «а что это я не стремлюсь стать просто одинокой, спокойной в своём отшельничестве. Отчего мечтаю полностью завладеть Арви? Вот уже взяла себе его семью. Дочь его возлюбленной. И покушаюсь на него само-

го, но он всегда ускользает. А не лучше ли стать совсем ничья? Видеть башни летящие сверху? Видеть тихие детские дворики? И вдруг стать старой. И подружиться с такой же старухой, которая старше горбоносой мамы-матери? Идти и говорить – ты и я. Я и ты? Она тоже хорошая старуха. И я люблю её. Как мужчины любят Арви. Арви-танцующим. Арви-извязывающимся. Ведь Джой-Турья влюбился в него смертной, порочной и безутешной любовью. И воспользовался его немощностью, наверняка подсыпал ему в чашку с кофе какой-нибудь порошок. И я вдруг влюбилась в её запах. В её мелкий старушечий смешок? В её шляпку с пером, в её пупырчатые руки. И мыть её по вечерам в пене, помещая старуху в ванну. В крошечный тазик. А пена будет долго-долго намыливаться на слабенькие белые волосья, как на стебли папоротника, который никогда не цветёт. Мы две старухи. Мы бежим, взявшись за руки. Мы любим друг друга бескорыстно. И немного по-женски. По-бабски. Мы спим, обнявшись, как тебя будут звать – Милена, Алёна, Олечка? Или просто Мао? Сизая чайка будет бежать по улице в Хельсинки, и мы будем смеяться и пить кофе, которое по цвету тоже как сизая чайка. И я буду слушать Мао твои слова тихие и бессвязные. А ты будешь шептать – Олива, Олива и трогать мой скрюченный завиток, располагая его за ухом. Олива, Олива... ты станешь хвалить меня, я тебя. Свяжешь мне свитер нелепый и немодный. Но я, Олива, стану его носить даже в жару. И под комбинашкой будут кружева. На голове

– пакли. Или букли голубые, как чайка. И как кофе. И стану танцевать не хуже Арви. Тоже мне танцор, которого хотят. И, которого поимели мужики. Но это в Финляндии не позор, мы же не восток и не арабы. Не египтяне, не прочие как говорят, отсталые люди. Я буду бежать, подпрыгивая, чуть приподнимаясь над почвой, изрытой снегами, когда-то я была безудержно старая. И невероятно молодая. И вот я сижу, прижимая Ною к груди. За рулём Йоуко, который тайком от мамы-матери получил права и сносно вёл автомобиль, Хилье рядом. На заднем сиденье мы с Ноей и мамой-матерью горбоносой, как скала. Её волновало – когда же Арни к нам присоединится? Я отвечала, что надо сначала навести порядок в доме, устроить детей в школу, а Ною в детское учреждение при школьном классе, что мне, Оливе, надо устроиться в местную деревенскую больницу. И что мне надо каждое утро теперь бегать, убирать морщинки с лица, питаться только козьим сыром и мясом цыплят. А ей, маме-матери горбоносой, как скала, надо вымыть загон и приготовиться к выращиванию телят, которые уже заказаны у продавца и тот со дня на день привезёт двух полугодовалых самца и самку. И что я хочу дружить со старушкой, которую буду жалеть, как сестру и любить, как парня, что её рука будет трогать мою руку. И все будут счастливы.

– Какая ещё подруга-старуха? Ты с ума сошла? – ворчит мама-мать, улыбаясь, понимая, что я шучу, потому что замужем за Арви.

– Вот такая! – показываю палец и засыпаю».

Олива прикладывает ладонь старухи к своей груди и гладит её и целует. И плачет, думая, зачем это я встречалась с парнем. Если есть такая прелестная старушка? И какие у неё кольца на руках. Какие браслеты. И Олива свободна. Старушку можно положить в карман и доставать вечером оттуда. Старушка-дюймовочка, убежавшая от крота и нашедшая Оливу-эльфа. Олива видела, что у неё нет колец – видишь, я никогда не носила ни одного кольца...

Я свободна. Теперь навсегда. Обе не заняты ничем. Ни вязаньем. Ни шитьём. Ни внуками.

Это будет или не будет... Ибо Олива – кузнечик, а старушка-стрекоза. Тела лёгкие. Крылья белые. Порхают. Сидят кафе порхают. Лёжа на траве порхают. Едят душистые расстегаи, порхают. Моют посуду, порхают в нарядных платьях летних, талия стянута ремешками грудь открытая, пышные как у балерин юбки короткие... ляжки пухлые. А в окне – мимо, мимо машины, город виден лишь сквозь листву – его как будто нет. И страны нет. И никого нет кроме Оливы и старушки. Лишь лёгкий ветер из Питера. И снежный из Норвегии. Подъезжают автобусы, трамваи, маршрутки, поезда, подлетают самолёты, и лишь нарушает спокойствие, налетающий ветер, взвихренный, под девчоночьими подбородками... и разведенные мосты. Белые. Как у Бродского ночи, ночи Иосифа. И тяжёлые мосты как у Петра. Мосты дяди-Пе-

ти, Дворцы царя Николая. И площади Хельсинки. Кафе с булочками...

Хочу есть!

Все хотели есть!

Мама-мать быстро приготовила ужин. Дети были восхищены домом в Оулу. В Финляндии всё можно, любить друг друга. Просто так.

Мама-мать только ахала и восхищалась...

Прошло три месяца, а Арви не появлялся. Прошло ещё два дня. Арви не было.

Дети уже ездили в школу сами.

Мама уже готовила жирный олений суп.

Олива уже работала медсестрой в Суомуссалми! А Арви не ехал домой.

Где ты, парень?

– Ты похитила мою семью! – сказал Оливе Арви по телефону. – Ты уговорила мою маму...ты ...зачем? Что тебе не жилось в городе?

– Приезжай. Узнаешь зачем! Тут воздух. Спокойствие. Кроме этого, дом пропадает. А мне, как наследнице сестры и опекунше Нои приходят огромные счета. – Спокойно ответила Олива. Хотя ей хотелось сказать – неблагодарная тварь. Баба непригодная! Изнасилованная мужиком. Тоже мне танцовщик. Помойка ты. А не Арви! Позор семьи! Мо-

нетчик...лучше бы воевать поехал в Ирак. И погиб в честном бою.

– Но мне всё равно не понятно...

– Успокойся и пораскинь мозгами. Что твоих брата и сестру ждёт в городе? Очередная вспышка бедности? Что ждёт тебя? Потные мужики в кафе? Что ждёт меня – алкоголь и травка? Что ждёт мать твою – старость и болезни? – возразила Олива.

Арви промолчал. Он с трудом вспоминал последствия постыдной ночи. Свои галлюцинации. И ему было очень неловко перед самим собой. Словно сломалась стена невозврата. Упрямства. А ведь Арви так яро сопротивлялся. Но его взяли хитростью. И коварством. Лечебница помогла, но не исцелила от внутренней боли.

– Хорошо. Я приеду! – выпалил Арви.

– Ждём! – ответила Олива.

Она чувствовала себя победительницей. Теперь Арви будет только с ней. Принадлежать ей. От семьи никуда не сбежишь. От Йоуко и Хилье, от горбоносой мамы-матери. От Финляндии. От северных оленей и сияния. От длинных прядей ветра. От Стокмана. От магазинов и роскоши. От вкусного кофе и волшебных коней. И от того, как мы движемся, каким движением обладаем! Как мы захлёбываемся от криков и изумления! И когда мы становимся волками степными, мы мягкие, мы не как люди. У нас иная поступь, иные голоса. Олива поняла, что лучше не плакать. А действовать.

Медовые волосы Арви льнут к щекам Оливы. Но жизнь с Арви – это пыточная, это золотой луч раз в месяц сквозь решётки. И вот Арви едет на заказной машине в Оулу. У него прерывистое дыхание. У него длинные медовые пряди и цыганские кудри на лбу. Он превращается в движение. Он превращается в птицу летящую. Он словно слепой ощупывает дорогу фарами. Ехать триста миль. И пусть неровная дорога, вихляет, Арви понимает, что ему лучше спрятаться потому, что опять могут найти, могут завлечь, увести, съесть, понюхать, засыпать золотой пылью. Спрятаться лучше в лесу. Это очень хорошая идея, как потом понял Арви. И Олива не дура. Олива – кошка, цепкая и ловкая. Вот оседает снег, вот морозная пыль, вот узоры на заднем стекле. Вот башня. Вот заправка заброшенная. Вот поворот к дому. О! Двухэтажный, большой, вместительный дом. С печкой, камином, загонем для телят, большим двором, забором и узорчатыми воротами.

А вот и мама-мать. И Йоуко – такой взрослый. И сестра. И Ноя. И сама Олива.

Как же он соскучился по ним! Как же тут хорошо.

И Арви вдруг заплакал.

Слезы текли сами. Они очищали душу. Они смывали стыд. Они делали его НЕ блудным сыном. Вот бы сочинить такую притчу. О сыне, но не уезжающем. НЕ оставляющем родных. О сыне сынов.

Овечки, овечки...

Телята...

И маленькая симпатичная овчарка.

Теперь живи тут.

7.

В автобусе было свободно. Такое впечатление, что половина из экскурсантов остались в Финляндии или, как предположила Илона, умчались в Швецию. На самый край земли. В холодный край. В снежный край. Они кричали – мы теперь эмигранты. Мы финки. Мы – шведки. Мы добрались! Словно они все сразу заболели. И забыли корни свои. И забыли язык свой. И стали мучительно вспоминать слова на финском. Улицы и площади. Действительно в девяностые годы такое состояние походило на некую заразу. Так все были очарованы западом, её культурой, её богатством; откуда взялось это наваждение? Из каких средств массовой коммуникации? Кто это сказал первым. Почему слово заграница всегда писалось с большой буквы. О, увидеть Париж и умереть. О, поехать в Африку и увидеть нечто необычное. О, эмигрировать в Индию и там научиться практикам. Отчего Россия писалась, как рашка, как нечто унизительно-уменьшительное, непристойное, постыдное? Кто придумал такую чушь? Отчего бы не заболеть чем-то иным, например, Шекспиром – сыном Марло, сыном ремесленника, Бен Джонсона? Или, сказывают, некого пастыря, либо адвоката, ибо в ту пору бы-

ли тоже правовед. А, может, швей? И сам великий Шекспир – женился на женщине старше себя, но она была хорошей хозяйкой, сидела дома, штопала носки, чулки, перчатки...

Однажды Илона на выставке увидела некий портрет провинциального художника: некий странный субъект в костюме елизаветинской эпохи... А ещё молодую Пьету, такую сморщенную, как яблочко осенью. На руках Пьета держала огромного пушистого кота. У него были добрые ласковые зелёного цвета глаза. У Пьеты тоже были такие же – чуть навывкате, изумрудные с огромными чёрного цвета зрачками. Лицо у Пьеты совершенно русское-русское, чрезвычайно русское. Бант на шее. Кончики чепчики белеют на затылке. Сразу видно – она женщина любимая. Вот вся от пяток до затылка.

– Илона, ты спишь? – Угольников плотнее прижался к ней, прилип рукой где-то в районе декольте.

– Нет. Я вспоминаю...

Илоне не хотелось открывать глаза. Усталость этих трёх дней путешествия сказались на самочувствии, какая-то странная простуда не то грипп, не то ангина навалилась. Хельсинки зимой – это нечто болезненное и сопливое. Никаких красот не удалось рассмотреть, всё бегом-бегом, то одно, то другое, то третье. То нацист заболевший, то картины не пристроенные, то испуганная Олива с оленьими глазами и кошачьей поступью. А тут ещё внезапно влюблённый женатый Угольников с поглаживаниями, пощупываниями. по-

хлопываниями, пощипываниями, пощёптываниями, что он так торопится? Как будто все пьесы закончились, все театры закрылись, а Шекспир действительно умер!

– Вот приедем, пойдём в ресторан сходим? Ты какой любишь? Куда ты хочешь? – Угольников всё дальше просовывал свои длинные тонкие пальцы под кофточку.

– Не знаю... вот отчего-то вспомнился мне эпизод – сама не пойму мелькает в голове, вспомнилась незамысловатая немецкая пьеса. Водевиль. Секретарь посольства влюблённый безответно, и слышатся имена Джон, Орlando... мне кажется, что между Калининградом впоследствии туннель прокопают, чтобы передвигаться из России в России. Не верю я в то, что вечно будет эта дружба, фройншафт между капиталистическими странами и нашими консервативными, неповоротливыми... так вот сидит такая секретарша, орешки грызёт из миндаля, сама румяная и дебелая... губки алые, щёки румяные. Бывает же.

В это время вдруг зазвонил сотовый телефон в кармане Угольникова. Это случилось так неожиданно, что Алексей вздрогнул и съёжился. Он резко вырвал руку из декольте Илоны и нажал на кнопку.

– Алло! Алло!

– Ты отчего не отвечаешь? – вопила жена благим матом. – Звоню. Звоню. А ты вне зоны.

– Что случилось, Катя-прекрасная? Я сейчас в отъезде... Угольников не утруждался никогда тем, чтобы предупред-

ждать о своих отъездах. Жена знала, что у него часто бывают командировки. В этот раз ему просто хотелось побыть без семьи. И в то же время найти Микулу-нациста.

– Ты когда вернёшься? Говори! – голос у жены был разгневанным. Она рвала и метала, как говорят в народе.

– Скоро. Я уже границу пересёк.

Угольников немного растерялся, жена никогда с ним не говорила в таком тоне.

– Меня кладут в больницу. А ты и в ус не дуешь!

Тут Угольников прямо-таки взорвался:

– А я что гулять пошёл? Налево? Или направо? Может прямо? Я по делу ездил! У меня дед Николай нуждается в моей защите! Ты что забыла про этого Гунько? Я тебе рассказывал!

На полуслове связь снова прервалась. Это выглядело, словно Угольников бросил трубку в гнев. Нет, так не пойдёт! Он написал смс-ку и отправил жене: «Катя-прекрасная, мы уже возвращаемся: я и весь автобус экскурсантов. Так только смогу, то позвоню. Думаю, к вечеру буду дома...» И тут Угольников понял: с Илоной облом! Не успеет! Это как в стихе: Пирожков вынужден бежать. Лететь. Спешить, на корабле в Архангельск плыть, становиться Орландо, продавать картины, пить боржом, петь соло, надевать английский фрак. Вот так...

Что же было дальше?

Ничего.

Милая Илона умчит к себе. К сыну Ёжику. Забудет Угольников. Туманный Хельсинки. Пьету. Художника на остановке перед границей. Забудет Оливу, Арни, Вето, снег, мощёный бульвар, магазины с их тупой распродажей, такси, беготню по улицам, сидение на скамье возле больницы...

Он позвонит, она ответит: Нет! И её глаза будут орать: да! Но он их не увидит. Не сможет поцеловать. Не сможет обнять Илону. Она будет стоять одна в поле, как берёза. Будет лить слёзы, которые будут превращаться в сосульки...

– Возьми мой номер телефона...запиши его! – Угольников достал авторучку.

– Хорошо! – кивнула Илона и стала искать клочок бумаги. Ах, нет, это билетик, это чек, по которому я покупала костюм, это проездной, это контрамарка. Вот салфетка бархатная, розовая, с цветочками! Пиши, Алёша Угольников, что хочешь. Всё пиши. Или скажи. Я запомню. У меня память стопроцентная!

– Жена заболела! – опустив глаза, сказал Угольников. – Просит меня поторопиться в ультимативной форме.

От него пахло разлукой.

Илона хорошо знала этот горький, рябиновый запах. Вот есть рядом человек. И вот его нет. Умчался по своим неотложным делам, в свою жизнь. В свой дом, где кухня, телевизор, спальня, работа, тёща, соседи, дача, работа, усталость, заработок, премия, начальник. И дед Николай! Грозный такой: ты отомстил? Ты плюнул в лицо Гунько? Ты съел его

уху? Ты вырвал гортань? Нет? Как нет! Отчего? Ах, в госпиталь лёг этот старикан, ушёл от мести, нашёл способ драпануть? Так же, как через сугробы лез, полз, извивался, пробирался, прятался, сидел в засаде, в подвале валялся, чуть лапы не отморозил, так боялся возмездия. А убивать не боялся, карать не боялся, невинных детей мучать не боялся? Бандеровец хренов!

– Обещаю, клянусь, Илона! Как только ты позвонишь, то я примчусь к тебе в любой конец города! В любое время! – Угольников сжал кулаки. – Но сейчас сегодня никак! Я – человек слова. И дела.

– Алексей, я поняла. Зачем ты так переживаешь? Пусть будет так, как есть. Дружба – это самое лучшее, что может случиться с человеком, ведь мы так сдружились, так провели время хорошо. Помогли этому несчастному Муиловичу, сходили в музей, познакомились с людьми. Я очень рада! – Илона говорила спокойно, но глаза... глаза... казалось, что они волнуются и вздыхают, переживают и трепещут, радуются и печалются, успокаивают и переживают.

– Я разглядел тебя... сначала, признаюсь, когда увидел, то подумал: отчего такая тяжёлая шуба, шапка норковая наде-та, к чему это? А сейчас подумал, это так элегантно! И в такой одежде можно хоть на край земли... и мне кажется, у меня жизнь как-то поменялась. Я был до этого разгильдяем, не задумывался о своих земных поступках. Всё сводилось к зарабатыванию денег. К выживанию. Словно земное побороло

духовное. И тут вдруг ты – и Пьета. И столько сразу смыслов появилось! А то, что Гунько не удалось достать, так ничего, жизнь она такая – даже при последнем часе найдёт и плюнет сама в подлое нацистское лицо! Верю!

И все вернулись домой.

Все просто вернулись домой.

Так было надо, чтобы все вернулись домой!

Лишь Угольников, словно не вернулся домой.

Пришёл, сел и не вернулся.

И жену уже отправил в больницу.

И с сыном сел уроки делать.

И с тещей чай попил.

И в парке погулял.

И в магазин ходил.

И на работу вовремя пришёл.

Но домой словно не вернулся.

Не вернулся и всё тут.

И снег пошёл, сказал: иди.

Угольников шёл, пришёл, сел, умылся, побрился, поужинал, выпил вина, лёг в свою кровать.

Но не вернулся.

Телевизор посмотрел, ну там 60 минут, Соловьёв-лайф, чай попил, яблоко съел, свет выключил, уснул, жене передачу отнёс, снова сына в школу отвёл.

Но не вернулся.

Прошла неделя.

Не вернулся.

Прошёл месяц.

Бесполезно!

Жена спрашивает: что с тобой, Угольников? А он слышит.

И понимает: не вернулся.

Тёща уговаривает: не заболел ли? Тесть зовёт в шашки поиграть. Сосед приглашает в гараж пива поить, секретарша попой виляет. Нет. Не вернулся.

Колокольчик позвонил, динь-динь, трамвай мимо проехал, чуть не задел капот, нет, не вернулся. Луна закипела на небе. Ситцевая, шёлковая, шерстяная, жёлтая, розовая. Солнце воспарило, звёзды высыпали. Войны начались. И закончились.

Снова секретарша подошла. Улыбнулась. Задом повиляла. Начальник отругал. Собака взвыла. Кот пропал. Сын заплакал. Жена выздоровела.

– Лучше бы ты вообще не болела! И не позвонила мне в неурочный час!

– Я жена – Катя-красавица. Имею право!

Ага...

Скажите, как вернуться? Как снова полюбить эту жизнь? Пиво, собаку, футбол, гараж, шашлыки?

– Сходи к психиатру! – посоветовал сосед.

– Выпей валерьянки! – сказала тёща.

– Махни рюмку коньяка...

– Дёрни бокал шампанского.

И Угольников пошёл с соседом в гараж, там они хорошенько напились. Потеряли ключи. Нашли банку с огурцами. Хорошенько закусили. Утром мутило, и болел живот.

– Напиши отчёт! – сказал начальник. Написал.

– Выпишите премию, – попросила секретарша.

– За что? – спросил Угольников.

– Ну не знаю...

– И я не знаю.

– Где ты пропадал? – возмутилась жена.

– На работе!

– Такое впечатление, что ты не вернулся!

Ага. Не вернулся... А ведь прошло уже полгода.

Ага. Полгода.

Взял книгу прочёл: К пристани «Бухты благополучия» подошёл теплоход «Глеб Бокий», из окон Кримкова был виден пригорок, как раз для такого случая.

Пригорок, пригорок, страна Соловецкая, скажи, расскажи, ты же видел всю правду,

как мальчик четырнадцати лет беседовал, «а был ли тот мальчик» примкнувший к отряду?

Но вы провалили, писатель, задание, приехали в кепке, одевшись, как в праздник.

(Терпеть не могу либеральных заранее, терпеть не могу демократов стоглазых...)

Люблю, если мученик также, как Горький! Люблю, когда пишет он про Короленко,  
люблю, когда очерк такой – томный, волглый и чудаковатый маленько!

Мне страшно одно: то, что Горький уйдёт вдруг, уедет с высокого – с башню – пригорка.

Он видел рожденье от схваток до потуг, вот это писатель, вот это наш Горький!

Как после искать нам такого, как Горький? Как после звать нам к нему: «Отче-Горький!»

Как после воспеть, ах, вы батя-наш Горький. Так близко быть к власти, пройти через створки.

Пойди, поищи ты такого же тоже красивей, могучей, столетней, моложе.

Он ехал и ехал. Он шёл по Приволжью, он памятником встал гранитным с подножьем.

Пальто трепыхается складками кожи, один встал за всех под метели и дождик.

Мой Горький – не камень. Идём же, идём же!

По синей дороге, сбивая в мозоли, все сорок сапог мы сносили до воя,

сорвали свои каблуки напрочь, втайне, как Горький, и мы провалили заданье!

Нам солоно надо, а мы сладко жили, к двенадцати, еле проснувшись, вставали,  
ленивые – мы! Пахнет сеном затылок писательства нашего, кто в белом зале!

По клеверам, мятам иди! Это просто. Глаза сине-карие. Отсвет в них взрослый.

И если бы дали такое задание, его провалила я тоже бы, знаю.

Да, да, Соловки – это горько и плохо, да, да, Соловки – это грубо и мерзко.

Так было. Такая сквозила эпоха: наивное, грешное, жесткое тесто.

Но многое я отдала бы, чтоб снова, хотя бы на месяц вернулся к нам Сталин,

ввалился бы, топая в пол, сапогами:

– Я вам говорил! Провалили задание?

Тогда в Соловки вас. И будьте здоровы.

И всё бы затмилось. И всё бы почернело. А был ли он, мальчик?

Нет тела, нет дела.

И снова, и снова идти нам, идти, нам всем, провалившим задание, сюда вот в эти коварнейшие Соловки, вот в эти страшные нам Соловки, где хлеб со червями, где с гнилью вода.

Где мёрзнуть: одежд не хватает для тела. Где пухнуть от голода. Да вшей кормить.

Мы были – кем были. Мы зрели, кем зрело. Сплочённым народом – Людьми!

Из этих сараев, из этих лабазов, из Пушкиных, Лермонтовых, из Тарасов,

солильни, пластальни, пекарни, кожевни, мы стали, кем стали,

желали, хотели.

А Горький, а Горький из меди и ткани, но всё ж навсегда не исполнил заданье.

А дерево, что пораскинуло ветви, качаю я ствол, ах, ответь мне, ответь мне!

С чего так рябиново мне и так горько? И где же тот мальчик, где Горький?

Иду я с Еленой – свет-Николавной. Мы ссорились раньше. Теперь всё исправно.

И мы провалили с ней тоже заданье, ей голову я обхватила руками,

снега не упали, но больно заранье,

дожди не свались, нет камня на камне, мы с ней провалили своё же заданье...

Ах, дитяtko, солнышко, может, спасём мы хотя бы маль-

чишку? А был ли он – мальчик?

Ужели схоронен под этой сосёнкой? Под ёлкой, где солнце  
и где одуванчик?

Кричу – он не слышит.

Ору – он не слышит.

Трясу я осину – она еле дышит.

И тоже не слышат – ни груши, ни вишни. Я ногти срываю  
до сизых болячек.

– Услышь меня, Горький!

Услышь синеокий!

Не слышит. Не слышит. Не слышит, не слышит! Качни  
что ли веткой, надежду хоть дай мне,

ворону, что села на ветку, устало сгони, отпугни, чтоб она  
упорхала, да ягоды скинь вниз на сумрак подталый,  
песчинку, листок...

Намекни хоть следами, что не провалила я нынче зада-  
нье...

Прочёл и заплакал. Слёзы текли по подбородку. Кто-то  
дёрнул за рукав: Угольников? Да!

Слёзы потекли ещё сильнее...

Вернись!

Вернись!

Не получается.

Все задания были провалены. И последнее тоже.

– Что с тобой? «Ты сам не свой?» —каждый вечер спрашивала Катя-прекрасная.

– Не свой? А чей я?

– Лучше бы я тебе не звонила, когда ты ехал в автобусе. Вот ехал бы и ехал. Может быть, приехал домой бы? А теперь ты словно завис!

– Да...

– Развисни, Угольников! Вернись.

А Угольников не может. У него не получается...И лишь в глазах мелькает видение – скорбная Пьета. Растущая Пьета. Любящая Пьета. Восходящая Пьета.

И наворачиваются слёзы.

Ты же хотела их видеть слёзы мои, да? Тогда смотри, как я изнемогаю. Как кричу. Как взываю. Это походило на бессилье. Растущее с каждым днём. Лишь книги успокаивали. Чтение придавало силы. Ибо согласно сюжетам у других было ещё хуже, чем у Угольникова!

8.

Илона сильно устала. Но была довольна поездкой. Хотелось бы отдохнуть, но не получалось, то сын приболел, то муж. Про Угольникова вспоминала изредка и так ненавязчиво, мягко. Как звук свирели. Как дорога до метро. Как падение жёлтого осеннего листа. Сначала листик кружится, про-

тягивает свою пятерню, уносимый ветром, сын шагает с уроков со скрипочкой. Пальцы у него мёрзнут, но он не может согреть их, иначе выронит скрипку. Заходим в школу, снимаем пальто, вешаем их на скрипучие крючки. Пахнет краской, щами из кислой молочной капусты. Пахнет песнями про родину. И пахнет самой родиной. Листьями смородины.

Илоне часто снится школа: коридор, вход на второй этаж, большие двери. Отчего память такая цепкая?

Звонок от Оливы застал Илону врасплох. С чего это вдруг эта женщина с кошачьим взглядом решила вдруг позвонить? Речь была сбитая, через разговорник, половина текстом не понятна. Илона проводила сына в класс:

– Иди, Ёжик! Я буду ждать тебя внизу! – в школе Илоны был тоже такой узкий коридорчик перед кабинетом завуча.

Илона села в кресло, нащупала в сумочке книжонку: на нескольких страницах были фразы на финском языке. Зачем Илона носила эту брошюру в сумочке, отчего не вынула, остаётся загадкой. Может, хотела сохранить хрупкую связь, некое очарование от поездки, продлить волшебный миг? Или просто от небрежности?

Худые лопатки сына мелькнули в проёме... Милый!

Илона нашла нужные фразы на финском: «Ymmärsin kaiken. kiitos tarkkaavaisuudestanne.»

– Понимаете, – твердила Олива, – я не знала хорошие вы люди или нет! Поэтому солгала!

«Значит, плохим людям в Финляндии лгать можно? Лжи-

вая, глупая страна, укрывающая нацистов! А ведь Угольников приехал лишь затем, чтобы встретить этого Гунько. И вдруг такой облом!» – Илона терпеливо ждала, когда Олива выскажется.

– Понимаете, вы у меня, как талисман! – слова Оливы были сбивчивы. – От вас зависит моя судьба. И моя любовь к Арви!

Илона не совсем поняла: о чём речь? Но суть такова: эта кошка вцепилась в Арви и никак не хочет отцепиться. Арви любит только Турью. Но сестры нет. Уже нет. Или не было. Или не будет. Или есть, но где-то далеко. С Арви случилась неприятность, его чуть не увёл некий Джой-Турья. Но каждый раз, когда Олива слышит голос «этих русских», то Арви возвращается. Поэтому пришлось звонить Илоне. «Чушь какая-то... сказка... финская притча...»

– Олива! – произнесла Илона. – Звони, когда понадобится! Я не против!

– Какая ты добрая. Все русы добрые! Все русы отзывчивые! Душа у вас красивая... мне это надо. Иначе не могу дышать даже! – призналась Олива.

– Хорошо...

– Илона, может, ты чего-то хочешь? Например, сувенир тебе прислать? Подарок?

– Олива! Нет, не надо. Лучше узнай у Вето про этюды Муиловича, которые мы с Угольниковым оставили у неё. Какова их судьба? Если сможешь...

– Да-да, я спрошу! Anteeksi, Илона! – что означало: извини, Илона!

Станный, странный разговор...

Новогодний! Точнее весенне-новогодний! Пора шить лёгкие платья из ситца. И идти на прогулку. Просто дышать этим кашляющим воздухом. Завернуться в тёплые пледы. И дышать. Как будто в мире нет войн. Несправедливости. Эпидемий. Горя. Нервов. Страсти. И более никогда не будет. И не надо.

Илона иногда чувствовала: Угольников думает о ней. Но она ему не звонила. Не видела смысла. И когда звонить? Когда муж чинит табуретку на кухне. Или когда ужинает? Или когда пилит лёгкие дощечки, достаёт шурупы и ввинчивает их в углы табурета? Строгает фанеру? Вот кончатся девяностые годы, наступит двадцать первый век, тогда можно будет перекинуться парой фраз! Эх, птица-Троечка, жизнь! Куда мчишься ты? Так и хочется воскликнуть по-Гоголевски. И ещё сказать – ох, уж эти смушки на шапке Ивана Никифоровича!

А времени стало в обрез: снова открыли музей и пригласили Илону подработать немного. Она согласилась: не вечно же в буфетчицах сидеть!

Родные сыновьи ключицы мелькнули возле раздевалки. Пора! А вот и его широкое лицо. Румянец. Улыбка. И скрипка в футлярчике.

Идём, мама!

Идём, сын!

Вечер. Надо спешить, готовить ужин, заваривать чай с лимоном и корицей. Затем проверить, как сделаны уроки, погладить школьную форму. Растопить камин. Вечер – это повод лечь в кровать, раскинуть руки, накрыться одеялом, поцеловать муж и заснуть.

Когда на работе предложили сходить на концерт, то Илона попросила два билета – для себя и сына. Мужу внушила, что лучше остаться дома, приготовить ужин. Да и не любил муж, как он говорил «ваше искусство»! Лучше время уделить для зарабатывания денег, смастерить ещё пару табуреток на продажу! Тоже мне художники, поделщики, какой от вас приплод? Какая выгода?

Илона прижала к груди сына. Обняла. Ей было непонятно, как можно отправить своё дитя далеко от себя. Отпустить... Илона в такую минуту припоминала притчу о пастухе, у которого были в наличии три овечки, по ночам они согревали его от холода, прижимаясь своими тёплыми кудрявыми боками к его телу, летом они давали столько пуха на продажу, что на вырученные марки, можно было купить пропитание. Осенью, когда шли непрерывные дожди, пастух укрывался в дощатом доме, а овцы обступали его, не давая проникнуть холодному ветру. Но вдруг пастуху захотелось чего-то большего, иного, он продал овец и на вырученные деньги отправился в путешествие за Золотым руном, за

неким, условным богатством. По пути ему попадали хорошие и плохие люди, иногда пастуху приходилось подрабатывать на тяжёлых работах. И вдруг его настигла удача, он обзавёлся большим стадом, хорошим домом. Пастух вспоминал о своей матери, ему хотелось отправить ей немного денег, но он откладывал это благородное дело со дня на день. Когда он наконец-то собрался – положил в сундук красивые шали и накидки, перстни, бусы, попросил знакомых довести поклажу, то до него дошли слухи, что его дорогая мать умерла от бедности и недоедания, от холода и одиночества. Вскоре пастух истово влюбился, но отец возлюбленной был категорически против женитьбы, потребовалось продать весь товар, дом, стадо, чтобы вымолить разрешение на помолвку. Но снова неудача! Налетели враги и отобрали всё, что было у тестя, а невесту похитили и увезли в неизвестном направлении. Там на ней силой женился богатый финский парень, принц Северный. И родились у них трое сыновей – большого роста, воинственного накала. Пастух вынужден был вернуться обратно в своё поселение. По дороге к нему прибились три ничейные овечки, которых он пригнал в своё прежнее ветхое, полуразвалившееся жилище. И снова эти овечки, по ночам согревали его от холода, прижимаясь своими тёплыми кудрявыми боками к его телу, летом они давали столько пуха на продажу, что на вырученные марки, можно было купить пропитание. Осенью, когда шли непрерывные дожди, пастух укрывался в дощатом доме, а овцы обступали его, не давая

проникнуть холодному ветру.

Когда Илона и сын возвращались назад, то зашли в кафе перекусить. На столе они обнаружили тетрадь. Илона несколько раз спрашивала официантов, чья это вещь? Но они только пожимали плечами. А когда Илона с сыном вышли, поужинав, из кафе, то один из официантов догнал их на остановке автобуса и, окликнув, сказал:

– Это ваша тетрадка! Возьмите её. И более не теряйте!

– Это не наша! Клянусь вам! – Илона схватила официанта за рукав. – Она лежала на столе до нашего прихода! Мы сели туда потому, что все места в кафе были заняты. А сын очень хотел что-нибудь сладкого!

– Да! – кивнул Ёжик. – Честно!

– Не морочьте мне голову! Иначе я вызову полицию! Берите и идите, пожалуйста! – Официант, ёжась от ветра, вернулся в кафе.

– Что делать?

– Как что? Давай, Ёжик, попробуем найти хозяина этой вещи! Например, дадим объявление в соцсетях!

– Может, попросту выкинем на помойку? Там какая-то ерунда написана. Чей-то дневник. Или рассказ.

– Скорее всего, исповедь. Или чья-то обида. Или мольба.

Поиски справедливости.

– А разве справедливость надо искать?

– Кому как...

Уклончиво ответила Илона, решив, что сейчас спорить с

официантами бесполезно, да и поздно уже. Но завтра или тогда, когда будет время, обязательно найдётся хозяин этой белиберды.

Дома пахло тушёной курицей и чаем с корицей. Муж. Сын. Жена.

Гармония...

Тетрадные листы были наполовину вырваны, какие-то ку-сочки и клочки остались...

Илона подумала, что имя хозяина или хозяйки можно найти, если прочтёшь весь текст. И она решила – буду читать! Ибо выхода не было. Когда муж и Ёжик легли спать, Илона перебралась на диван в среднюю комнату, включила настольную лампу и приступила:

«...примирение невозможно. Чтобы я ни делала – всё бесполезно... это война. Это хамас, напавший, нарушивший границы, это радикализм какой-то. Иногда думаю, что означает выражение – «это другое»? Вот кажется, что теми же словами сказано, но мне всё время приходится оправдываться – это не так! Например, сочетание нерифмованной лирики и прозы старо, как мир, даже у Шекспира это есть. Хотя слово «даже» абсолютно не приемлемо. И вообще, что есть такое, когда себя считаешь основным, избранным, истинным, а другого – вторичным? Кто даёт такое право? Кто еси?»

Клочки чередовались с клочками. Некоторые страницы были вымараны грязью, словно тетрадь долгое время нахо-

дилась где-то в чулане или на антресолях. И, вообще, как она вдруг наполовину разорванная оказалась на в тёплом и уютном кафе? Кто-то ведь её туда принёс. Положил...

Илона решила, что склеит некоторые части, переплетёт страницы. А там, авось, хозяин найдётся сам собой. Ну не тащить чужой дневник обратно в кафе?

«...его руки были мягкими. Я не ощущала своего веса, я просто была...

...хорошо. Я уступаю пальму первенства. Ты – всё. Я – ничто. Какой смысл бороться, доказывать? Я – провинциальная, деревенская, полуграмотная, допотопная, лапотная, пусть так! Поклон тебе, Боря, поклон! Да хоть все пусть говорят, что – талантишко маловат, жилки синенькие не крепкие, нет оси, стержня. А ты ого-го! Прёшь, как мерин, тебя не догнать! Ну и пряди свою кудель, Боря! Таковую сизую, рыжую, пёструю кудель! Рыжая Алла, что сторожит сцену, тоже пусть прядёт кудель свою – тонкую! У неё грубые мозолистые пальцы, ногти стрижены под ноль, и пусть женщина горбоносая в клетчатом платке тоже прядёт кудель свою. И скользкая пусть сучится шерстяная нитка. Ибо все мы лишь тени перед тем пастухом, что проходит мимо нас. Проходит и не знает, что ему придётся возвращаться к своим овцам. К детям овец своих. Какой смысл терзаться, уходить в поиски. Ибо всё – только поиск. Боря, ты тоже поиск, твоя книга поиск себя. То есть меня. Ибо, Боря, есть ещё люди. И не ври себе, что шибко талантлив. Ибо талант не твой. А небес-

ный. Захочет небо и отберёт. И останется лишь былинное многоточие. Фразы тоже будут, но они пусты, они не наполнены ничем, кроме звуков отголоска мысли. Что останется? То первое, что ты произнёс. Оно, как неизменное, сокровенное слово «мама», как первый шаг, как первый раз в первый класс... А что я? Я – поиск. Вечный поиск. И я раскроюсь. Взойду на гору и полечу... горлицей! Я уже вся истерзалась. Сначала мне мою никчёмность родители доказывали – ты должна учиться, постигать, лезть вверх. Затем муж кричал – белая ворона, будь, как все. Затем ты, Боря, моей души обманчивая цель. Хочешь, брошу всё и стану швейей? Я хорошо шью. Или стану кухаркой? Я вкусно готовлю плов. Пирожки жарю. Шаньги с творогом и маслом. Сначала кладу тесто, раскатываю на дощечке, добавляю муки овсяной, кисельной, затем режу на дольки, кладу туда мягкий, что шёлк молочный коктейль. Глядят из детства фигурки слоников на комод. Раньше у всех были эти индийские слоники! Шесть штук! У тебя был любимый слоник, Боря? Они шагали по салфеткам, вязаной из простых советских ниток. Пряжа...пряжа... у тебя, Боря, такие разноцветные глаза! Радужки зашкаливают, зрачки, как мячики... Береги своего сына. От наркомании. Не заметишь, как он начнёт употреблять. И ты – родитель, должен пройти через все муки ада. Ты будешь думать – за что? Отчего это у меня случилось? Как излечить сына от наркомании? Где взять такую лечебницу с докторами, с медсёстрами. И чтобы недорого. И эффективно. Кто наркотики

принёс? Штаты. Они давно хотели здесь торговать наркотой. И соседка вослед тебе будет кричать – твой сын наркоша. И тебя чуть паралич не схватит. А потом ты заболеешь. Начнёшь сходить с ума от горя. Сползать соплёй по стене. Лить слёзы, отирая из грязной салфетки.

– Слышь ты, Боря. Бревно моё, на моём пути лежащее... Так, так я думала всегда. Что Боря мне мешает.

Это он подсадил всю нашу братию на разные конкурсы. Время конкурсов, вымпелов, грамоток, списков, шорт-листов. Можя на первое, второе, третье место. Можя пройдёт. Шорт-листы сгорят. Сайты развалятся. Грамоты выцветут. Что останется, Боря? Почерневшая моя тетрадка, выкинутая в макулатуру. Ага! И завянут все плачи мои. И свернётся в трубочку береста. И соберут книги и вынесут сначала в прихожую ближе к двери. Затем из прихожей в коридорчик. Из коридорчика в тамбур. Из тамбура вниз по лестнице.

А тут вдруг летит мой – легче лебяжьего пуха, вдоль милого лица, живой, не умерший, с чудными разноцветными глазами, как в калейдоскопе зеркал, обычный спокойный мой возлюбленный.

Я его связала из цветных ниток. Сама! ручки. Ножки. Палки. Огурчик. Глаза-пуговики. Борода из ваты.

Мой финский Санта Клаус.

Сказала я – и выпрыгнула в окно...

Прыщавейте!»

Илону аж продёрнуло: человек самоубийца? Написал и

оставил в кафе нарочно? Хотел, чтобы узнали его историю? Точнее её...

«...нет. Я не могу тебя оставить одного, мой шерстяной человек! Поэтому я напишу для тебя инструкцию – как быть дальше. Как действовать! Это закон пряжи!»

«Неужели ты думаешь, что все люди дураки? Ну вот прям все? Слушают меня – и столбенеют. И рыдают. Отчего так? Что за магия в моих «недотопырках»? «Недолирик»? «Недоэпосов, недо-пафосов, недо-логосов?» Отчего люди фанатеют от меня, от фальшивки? Ответ? Ага...молчишь. Ибо можно обмануть одного человека. Двух. Трёх. Но тысячу сразу не обманешь. Они что, там в Москве, Папе-Питере, Маме-Екатеринбурге, Бабушке-Сибири, Тётушке-Германии глупы настолько, ослеплены, что трубец? Вот хоть опишишь, хоть шкурой внутрь вывернишь, а всех не обманешь. Разом полстраны! Об одном мечтаю, чтобы исчезли все конкурсы разом. Напрочь. Одним росчерком пера. Чтобы остался человек и издательство. Человек и его читатель. Этакий шерстяной человек!

Поэтому делать шаг из окна ещё рановато.

...Лола Льдова, остановись!»

«...крепость Бомарсунд на севере Финляндии представляет собой полукруг с входными воротами.

Всё равно высоко взбираться не надо. Восходить. Лезть вверх по этим развалинам нет смысла. Развалины они и есть

развалины.

А причём тут режиссёр и пьеса?

Остановись, Лола Льдова!

Боря...держи её!»

– Так вот в чём тут дело! – подумала Илона. – Боря – это друг, точнее человек, с которым Лола в ссоре. От одиночества женщина сшила себе куклу и назвала Шерстяной человеком. – Но что лучше недооценка или переоценка себя? Надменность и зазнайство. Буря или штиль? Ох, уж эти вечные споры...Шекспировщина!

9.

«А ты и вправду мёртв! Ну вот мертв и всё тут. Твой чухонский нрав не даёт тебе это созерцать. Да, у тебя много всего есть и ты ещё и ещё добавляешь, но это всё не настоящее. Это Голь голимая. Без одежд. Говоришь, что я – кукла? Что жизнь прожила я куклою в чьих-то тяжёлых руках? Что я – подделка?

Понимаешь, люди судят другого, исходя из своих соображений.

Как там вопит наша окраина – это другое!

И доказываешь, доказываешь, что твой квадрат квадратнее, овал овальнее, круг круглее, небо небеснее, земля землянее, ягода земляничнее...

Кому доказываешь? Себе, мне? Людям? А люди не верят.

Вот сидят такие, и не верят. Ты им лекции трёхчасовые читаешь, сутками напролёт говоришь, трактаты пишешь. Не верят люди. Ибо они нутром чувуют – я не кукла.

Се есть человек...

Остановись, Лола. Но она уже лежит скукоженным тельцем лисьим на асфальте.

Если меня не жалко, то хотя её пожалел бы, Боря!

Как случилось?

Просто.

Выпрыгнула с девятого этажа питерской квартиры.

Пташечка.

А ты не верил! И твои родные не верили. И собака не верила. И кошка не верила. Вот, слушай, что скажу: ни у кого ничего не получится. Ни у тебя, Боря, который орал – что я немощь! Кукла! Ни у Шерстяного человечка! Даже у Лолы ничего не получится. Время изменилось. Теперь патриоты нужны! Война на дворе.

Сначала окраина задымилась. И наши пошли к Берлину.

Затем Восток зарёй зачался!

А ты – конкурсы...конкурсы...соревнования. Citius, Altius, Fortius!

Тебе, Боря, надо было на Украину ехать, там твои как раз единомышленники. В Осло. В Хельсинки. Надо было, как Алексеевич. Зря упустил ты этот момент.

И, вообще, оставь меня. Мне больно. Меня и моего Шерстяного. Такой у него нынче позывной. Нам на фронт пора!

А тебе в Верхний Ларс. Ты там бы состоялся. До Нобеля бы дошёл наверняка. Тебе бы миллиард стоился – живи!»

«...вот я бы тебе подарила всё, что хочешь! Бери, если надо. Ешь. Пей. Рубаху мою бери – грейся. Одеяло. Кресло. Хочешь причёску мою. Кику. Прут для завивки волос (каламис). Щёлок для шелковистости прядей! Молотый рис для осветления. Золотой порошок, жемчуг вплетай. Бусинки – от слова бусидо. Хочешь косы плети и закрепляй за ушами. Хочешь густую чёлку, как у Марии Стюарт! Хочешь локоны: кольцеобразные, спиральные, трубчатые, типа черепицы. Для ароматизации масло бобов, шоколад, накидки, платок, мешочек для укладки прядей. Есть ещё причёски каримос, что означает греческий узел, есть стрекозья причёска «лампадион», напоминавшая по форме языки пламени. Штору-чёлку ниже глаз. Как вторая жена Перикла. А ещё могу дать тонкий металлический обруч-филле; ремешок, резинку, кольца. А ты знаешь, что распущенные волосы – это роскошь? Хочешь бант Аполлона? Хвост коня Демосфена? Завитки? Заушники?»

Вот если бы это помогло Лоле Льдовой не выпасть из окна. Я пишу этот дневник за день до её полёта в самое небо.

Бедная моя девочка....

Боря, держи её за руку. Не отпускай.»

«...можно ли меня любить? Нет, не по-мужски со страстью. А дружески. Вот идём мы, Боря, смотрим на дорогу, на тропинку, посыпанную щебнем, и ты прекращаешь все свои

дразнилки моих изречений. Если хочешь обыграть мой Логос, то напиши также, без подхихикивания, без подьёба, без ёрничания.

Ибо я пишу так, как будто бы живая!»

«...ты знаешь, есть такое слово: отпустить. Да, да, не цепляться памятью, отключить все проводники, ибо любая ситуация имеет такие липкие плавники, присоски, их надо с корнем выкорчевать, полить елеем прекрасных грёз. Мечтать надо! До старости. Не переставая. Придумывать себе новую, кипучую, красивую жизнь. Или сказать себе: у меня всё замечательно. Хлеб есть. Вода есть. Дом есть. Что ещё надо?»

«иногда мои мысли путаются. Наверно, от обиды. Хотя как можно обижаться на тебя – дитя природы? Вот смотри, Боря, ты, наверно, красив. Но выглядишь, как некрасивый и неопрятный человек: все твои костюмы мешковаты, все твои ботинки одного цвета. Если ты занимаешь высокое положение в обществе, то должен выглядеть элегантно. Как с иголочки. Мы должны отвечать за то, что придумали, сочинили, издали, изобрели. Внешний мир идентичен внутреннему. Да, я одеваюсь ярко, ну там кружева, рюшки, ленты, стразы, блёстки, парча, банты, броши, заколки, начёсы, бусы, каблуки 12 см! А ты, как думал, Боря? Ходить в старых поношенных туфлях на босу ногу и читать о трагедиях Ахилла? Думаешь, это впечатлит слушателей? Сухой смор-

ценный старик в старомодной рубаше с пуговицами разного цвета и кожаном пальто, купленном сорок лет тому назад, которое потеряло форму и выглядит так, словно это мешок из-под картофеля. А шляпа? Это же колпак, пыльный, потерявший округлость. Лучше бы носок на голову натянул и ходил бы, Боря! Да может ты создаёшь неплохие вещи, читаешь лекции, полу-выкрикивая слова, может, ты даже знаешь многое, читаешь. Но смотреть на тебя – твою полу-лысую башку, обвисшие щёки не очень-то весело. И думаешь: сходи, Боря, переоденься... может, ты талантлив, но кому это приносит пользу. Кому кроме тебя надо знать эти факты о наличии или отсутствии твоего дара?»

«...ну вот dospopилась! И у меня начались неприятности...кто найдёт этот мой дневник, тот должен знать, что меня надо спасать! Муилович...»

Илона вздрогнула от того, что в тексте прозвучала знакомая фамилия художника, чьи этюды были оставлены на экспертизу Вито! «Интересное кино...» – подумала Илона и решила, что завтра непременно дочитает этот увлекательный рассказ. Либо сказку? Либо отрывки исповеди...

Ночью ей снилась Пьета, та самая с этюдов, она шла вся в каком-то сиянии туманом, её одежды развивались, она почти задыхалась, так спешила, стремилась. Пьете казалось, что чем быстрее она найдёт то самое место, проберётся в высь, где толпа народа окружила огромное, до облаков распятие.

И вообще отчего именно надо навязывать такую страшную смерть людям – на кресте? Что за средневековый обычай? Это так страшно – гвозди толстые, острые, входят под кожу, затем в кость, затем в доски дубовые. Откуда это? Звериное, глумливое, смертельное? и Пьета видела распятие над головой: и на неё смотрели глаза её сына, ещё до его зачатия. Она видела именно то, что видела. Но не верила. Не хотела. Ибо она пока ещё простая земная женщина. Любящая мать. Пьета приблизилась к толпе, увидела: сын уже неживой. Увидела и упала на колени. Отчего ты не спасся? Ты же мог? Или тебе было обязательно отдать себя на растерзание, чтобы затем всех уметь спасти? Иначе никак... Отчего так? Отчего Отец позволил это сделать, убить сына своего? Ради других людей. Просто людей? Но не все верят в тебя. Не все. А ты всё равно позволил. И Отец позволил. И я убереечь не смогла.

Пьета не смогла протиснуться сквозь толпу. Не правда, что ей удалось взять за руку сына. Ибо он был высоко. Так высоко, что даже голову поднять было страшно. Но Пьета подняла глаза и ослепла от света, струящегося свыше. Слезы сами собой погасли:

– Не плачь, жено! – услышала Пьета. – Я жив...

И когда Пьета держала на руках безжизненное тело его, и когда она шептала что-то про себя и вслух, и сама с собою, и с ним говорила, то слышала одно и то же:

– Не плачь, жено. Иди себе. Успокойся. Ибо я не мог умереть. Не получилось. Я теперь живой всегда, ибо я река,

небо, я эти васильки, ибо они целовали всё живое и стали такими ослепительными цветами. Я эти горы. Эти моря. Эта вечность. Я сожалею, что тебе пришлось горевать. Плакать. Мучится. Жди, когда ты сможешь присоединиться к этому небу...

Илона проснулась от ощущения чего-то счастливого. В ней и возле.

– Ёжик! пора...

И так было всегда. И будет. Ёжика в школу, маму на работу, мужа в мастерскую. И там он будет выпиливать, выстругивать, ладить и прилаживать... Ибо жизнь не обратима...

Ближе к полуночи, когда все уснули, Илона снова взялась за чтение дневника-исповеди:

«Муилович...Муилович...пришёл утром. Попросился переночевать. Его выгнали из какого-то автобуса, выкинули мешок с картинами на границе. И он вынужден был добираться на перекладных до города. А ведь Муилович столько усилий предпринял, чтобы пристроить свои картины в Финляндии, договорился о продажах. Тогда люди за границей очень интересовались искусством русских. Деньги Муиловичу нужны были, как воздух!

– Можно я у вас немного перекантуюсь? – попросил художник.

– Муж не любит этого...он вообще ненавидит искусство, считает напрасной тратой времени всякую мазню. Особенно

ему не нравится корабль, утекающий вертикально оси земной. Это не спасение. Это гибель!

– Хотя бы до утра...

Муилович весь дрожал. Было ясно, что он простужен.

– Ладно! Иди в сарай во дворе. Идём провожу. Там тепло.

И чай можно попить с печеньем.

– Ха... Гараж это! Твой столяр переделал железяку в комнату. Раньше в таких сараях бабки соленья и варенья хранили!

– Мы до сих пор продолжаем хранить картошку там. Но это не мешает Боре заниматься делом. Подрабатывать. Копеечку заколачивать! Иди уже, гений Муилович, да дверь прикрой плотнее!

– Ладно, до утра, так до утра. Ты мне пару рубликов дай взаймы, чтобы мне на автобус хватило, я к сестре махну. Там зиму пересажу!

– Дам чуть позже. Сейчас по карманам шарить не буду. А то Борю разбужу...

– Боря... тупой он. Как можно не любить искусство?»

Илона усмехнулась... искусство, Муилович... Значит, всё нормально: художник к сестре уехал. А сёстры – они такие, приютят, пригреют...

Всё обошлось, и напрасно Угольников нервничал. Ох, этот чудо-ухажёр Финляндский! Глаза такие джентельменские... взгляд распахнутый... наружу весь. А у него жена пре-

красная. Все мы немного женаты. И чуть замужем!

Возвращайся, Угольников. Нет. Бесполезно. Сидит дома, но домой не возвращается. И окно закрыто, чтобы не выскользнул. И дверь заперта, чтобы ветром не сдуло. И музыка звучит приятная. Угольников в кресле сидит, на экран телевизора смотрит. Но перед ним лицо Илоны плывёт. Улыбается. И глаза разноцветные искристые.

Вот бы поцеловать! Хоть разочек!

– Вернись!

– Не получается...

Правильно Чехов сказал: в роман можно войти, как в реку. Но выйти не получается.

Хотя роман-то всего трёхдневный. Курортный...

Не отпускает. Жаром обдаёт. Болью цепляет.

Соберись! Возьми себя в руки!

Вернись...

10

Вспомни ради чего ты ездил в Хельсинки. Неужели для того, чтобы вот так сидеть и киснуть? В конце концов, русский человек устроен так, что цели превыше всего. И надо продолжать поиски, которые начаты ради деда Николы!

Угольников открыл страницу в интернете, где были фотографии города, где он родился.

Краснореченск! Улица Чапаева дом 35! Вот дом из крас-

ного кирпича, переулочек, низкорослые тополя. Какой он маленький теперь этот дом! А казался всегда большим. И деревья тоже невысокие, шумят своей зелёной листвой. Сколько раз Угольникову снилось это место! Двор, гаражи, шумная ватага ребят.

Вот ради этого дома с облупившимися стенами, ради этих деревьев, узкой улочки, правда должна восторжествовать. И врагу надо не просто плюнуть в лицо, а вывести его на чистую воду! Должны же люди знать, что Гунько – отъявленный нацист, принимавший участие в расстрелах почти пяти сот человек, в издевательствах над людьми, в убийствах младенцев. Вообще, фашизм – это мировое зло. Катастрофа вселенского масштаба. Да, зло бывает первобытным, зло, как месть, зло, как коварство, например война на религиозной почве, как абсолютное зло, междоусобицы. В девяностые годы царила атмосфера разборок, «стрелок», выбивание денег, крышевание, безнаказанность, организованные группировки; жестокость и насилие. Во времена репрессий, как довоенных, так и послевоенных царствовало зло недоверия, зло подозрительности, зло убийств за неосторожные фразы и слова, зло, «а вдруг он против советской власти?», зло «как бы чего не вышло», да, существовали ГУЛАГ и ВЯТЛАГ, зло «чёрного воронка», зло культа личности. Но нельзя зло преувеличивать, как нельзя его преуменьшать. Зло – это всегда часть плана. Лишь добро не запланировано, оно бескорыстно. Иногда спонтанно и идёт от сердца. Планировать добро

лишь надо в сторону увеличения. И ещё большего добра.

Работать над собой надо по возрастающей.

Угольников долго не мог взять себя в руки. Он думал, что вот завтра, непременно с утра его психическое здоровье придёт в норму, он встанет, сделает зарядку, позавтракает и пойдёт на работу. На ту самую, откуда его уволили...

– Ты куда? – спросила жена (Катя-красавица), обнаружив, что Угольников надел спортивный костюм и направился к выходу. Она была взволнована происходящими событиями и тем, что Алексей замкнулся в себе после возвращения, целыми днями проводит у окна, сидит, плечи опустил, в безволии и отречении. Она ждала, что всё наладится. Знакомые говорили: не переживай, так бывает. Сходите к врачу...

Но на лечение денег не оставалось, поэтому женщина махнула на всё рукой и решила потерпеть немного до лучших времён. И вдруг видит: Угольников, хоть и осунувшийся, но бодрый, похудевший и побледневший, но полон решимости пойти на утреннюю пробежку. Поэтому её «ты куда» словно повисло в воздухе. «Пусть уж, куда-нибудь... всё равно, лишь бы не сидел, как чучело в кресле с отсутствующим взглядом...» в глазах Угольникова мелькнуло знакомое – Прекрасная... добрая... милая... Катя ... жена...

У неё даже слёзы выступили от радости. Наконец-то! Вернулся! Лёшенька...

Но Угольников опустил голову, съёжился и вернулся обратно в комнату, сел в кресло, накрывшись пледом. Так бы

и просидел до вечера, так бы и остался в неподвижной позе, но жена не выдержала и начала терпеливо, скороговоркой громко кричать прямо в спину сидящего:

– Имей совесть! Нам уже скоро будет нечего есть! Ты прогуливаешь рабочие смены. Ты болен! Это невыносимо...

Угольников вздрогнул, как от удара. И прошептал:

– Потерпи ещё немного...не знаю, что со мной.

– Я знаю! – воскликнула женщина. – Ты насмотрелся красивой жизни! Тебя тошнит от нашей серости! От нужды. От бессилия! Я...стала толстой и старой! Тебя не вдохновляет ничего! Тебе надо влюбиться! И уйти от нас!

Угольников вжался в кресло.

– Я уже влюбился!

– Ах ты гад! – Катя не выдержала и рванулась к креслу. – Сволочь! Съездил называется на три дня! Изменил-таки!

– Нет. Не успел. Теперь жалею об этом!

Угольников закрыл глаза. Жена сжала кулачки и начала бить ими по лицу мужа. Затем вцепилась в щёки и расцарапала лицо, от ярости, не помня себя, она начала зубами рвать кожу на плечах Угольникова. Вопила и рыдала, что есть силы. Кровь каплями сочилась из разбитого лица, царапины аллели, возле кресла валялись клочки рубахи, вырванные пуговицы. Угольников одной рукой отпихнул от себя жену, второй рукой приложил к ране на голове платок. Затем рванулся к дверям и выбежал на улицу.

Мартовский воздух освежил Угольникова. Он долго бе-

жал по парку, сворачивая в аллеи за аллеей. Подбежал к замёрзшему фонтану, схватил охапкой снег и начал отирать лицо, к Угольникову подошёл бомж: «Эй, ты чё, мужик, подрался?» «Да...наверно...» – ответил Угольников, продолжая отирать кровь. «На, глотни, тут у меня спиртыга...» Угольников послушно приложился к бутылке, чувствуя, как обожгло гортань.

Вот тебе, батенька, Юрьев день!

Бомж оказался добродушным мужчиной лет пятидесяти, бывший музыкант. Обычная история: театр закрыли, трупы распустили, квартиру продал, жена выгнала, опустился, подрался, обокрали, нет документов, нет ничего...

– Пошли, покажу одно тёплое место! – предложил бомж.

– Давай! – согласился Угольников. – Мне просто надо обратиться с мыслями. Меня дед не простит, если я не вернусь...я обязан!

Они шли недолго. За гаражами проходила теплотрасса, возле неё из полусгнивших брёвен стоял покосившийся деревянный шалаш.

– Видишь?

– Вижу! – кивнул Угольников. И тут же почувствовал удар сзади...

...Сколько он пролежал в талом снегу с пробитым затылком – неведомо. Сутки? Двое? Обмороженный. Обворованный. Накрытый какими-то вонючими тряпками.

В больнице его приняли за алкаша. Никто даже из вра-

чей не стал разбираться. Участковый, вызванный в Приёмный покой, составил протокол о том, что в ночь привезли неизвестного мужчину сорока – сорока пяти лет, у которого не было при себе ни документов, ни опознавательных знаков, ни сотового телефона.

– Ты кто? – несколько раз спрашивал Угольников сосед по палате. – Хотя бы имя вспомни!

– Потеря памяти – обычное дело. Ничего, отлежится, очухается! – сказала медсестра, внося капельницу.

Угольников думал: «Кто же я на самом деле? Помню: у меня были белые рубашки, запонки, галстук. Потом я поехал в Финляндию. Да! Именно туда. У меня есть любимая женщина Илона, у неё разноцветные глаза. И помню письмо дедушки Николы, он просил меня найти Гунько, плюнуть ему в харю!»

– Ты хотя бы женат? У тебя дети есть? – не унимался сосед по палате, пока медсестра искала вену, чтобы поставить укол Угольникову. – Его хотя бы кто-то ищет?

– Нет таких...

– Отчего?

– Не знаю...

– А что в полиции говорят?

– Мне ничего...я человек маленький. А врачу сказали, как вроде бы выпивши был, нашли возле теплотрассы, где бомжи обычно ютятся.

– А кто нашёл?

– Обычный прохожий с собакой.

– Да, собака – друг человека. Если бы не она – кранты бы моему соседу по палате!

– Вот, что значит девяностые лихие и нулевые годы! Это тебе не евро-магазины, не бутики во Франции, не поля Елисейские, а это наша действительность, – вздохнула медсестра.

– Дальше будет ещё интересней! Реальность совсем изменится. Вот увидите!

Ночью Угольнику приснился дед. Он гладил его по голове и плакал...

И он понял, что завис, как компьютер между прошлым и настоящим. Что пора просто здороваться с солнцем, выходить в поле, поднимать к небу руки. А ещё Угольников вспомнил, что у него дома есть телевизор. Но сам дом не помнил. И свою профессию не помнил. Может, я на золотых приисках работал? Ел зимнюю рябину, ходил в леса, свежеевал медведей? Был в Саянах, шёл 10 км по тайге? Илона была рядом – крошечная такая. Глаза – выдают все мысли. Глаза-предатели! Кричат – хочу любви! И они идут вместе по гравийной песчаной дорожке, до тропы, кедрачи возвышаются, роняют шишки; Илона поднимает одну – огромную, липкую, разрывает её напополам – на ешь! Орехи торчат из своих скорлупок – сочные, маслянистые. Оводов здесь неме-

ряно, жужжат, согревая музыку леса. Им хорошо. Нам хорошо. Всем хорошо. Мандариновые пауки ползают по камням. Они идут: Угольников и Илона. Внизу река, но она не течёт, она словно идёт рядом. И вдруг дождь внезапный налетает стеной. Илона пытается доказать, что Угольников прав. Что он поступил правильно. Оставил старика Гунько не стал подниматься в палату. Какой смысл больному плевать в лицо? Чтобы раскаялся! Но разве одним раскаяньем вернуть возможно жизнь убиенных и замученных? Можно мысленно – посылая сигналы сквозь космос – кричать – эй ты, раскайся! У Илоны в руках корзина, полная черники. Руки все в чернике, язык, губы. Угольников целует её. А небо видится таким желтовато янтарным. Илона запинается, падает, черника просыпается на землю, на колючки... Приходится наклоняться, собирать чернику обратно в корзину. У Илоны детские глаза, Угольникова захватывает нежность до слёз. Илона берёт на руки ребенка и говорит его зовут Ёжиком. Это мой сын. «А где мой?» —отчего-то спрашивает Угольников. И понимает – его сын дома. И он подросток. Стал незнакомым. Словно отдалился. А ведь был таким маленьким, в кроватке утром вставал на пухлые ножки. На затылке вихорок, пахнет молоком.

И вдруг сын начинает отдаляться. Совсем далеко. Угольников тянет руки. Бесполезно!

– Дед, дед! – просит Угольников вернуть сына обратно.

– Какой смысл? – спрашивает дед Никола. – Если ты не

плюнешь Гунько в лицо, не скажешь: Ты гад! – То всё лишается смысла. Ибо сын вырастет на западный манер, будет думать о блогерстве, смене пола, смертоубийстве, наркотиках.

Угольников всё понял. И начал страдать. Мучится.

Сын как-то сказал, что хочет заниматься музыкой. Что слышит музыку везде.

– Но у тебя нет слуха.

– Есть, папа!

Отчего-то Угольников подумал, что сына зовут по-армянски Венсаном. И что у сына выросли усики.

– Надеть куртку!

Венсан выглядел угрюмо.

Выглядел мрачновато.

Илона – не жена. Но он любит её. И Угольникову стало стыдно, что он не любит мать Венсана. И что у него пропала память. А ещё Угольников помнил, как ездил с Илоной в Финляндию. И он понимал – скоро предстоит война. Но Венсан бегал за собакой, смеялся. Угольников старался не смотреть ни на сына, ни на собаку, ни на Илону.

Хотелось обнять Венсана, прижать его к себе. Сказать что-то важное. Самое главное. Но получалось банально, просто до слёз нелепо. Я люблю тебя, сынок! А он бегал и бегал за собакой, ноги его, обутые в кроссовки, взлетали высоко над землёй, покрытой рассыпанной черникой, которую Илона не успела собрать. Голова сына была повязана белым платком.

Угольников устал.

Он отёр лоб.

И громко крикнул: «Дед! Я не исполнил твою просьбу!»

И ему стало стыдно, словно он, как толстозадая баба надел брюки, которые обтянули мясистый тучный зад. И ещё он вспомнил бабушку, которая был татаркой, но она любила Угольникова и говорила скороговоркой: «Лёша, Лёша, Алёша!» и Угольников понял: он никому ничего не должен. И он не обязан очнуться! Ибо все его мысли уже давно сами по себе достигли Гунько. А возмездие придёт само собой. Он знал, что случаются неожиданности: Бог всё равно накажет виновного!

– Никогда и ни за что не поеду жить в Европу. Там мужчины любят мужчин. А женщины женщин!

И Венсан был прав.

Угольников вспомнил притчу о том, как красавца танцора, влюблённого в Турью, обманом заманили в ловушку мужеложцы и овладели им. Страшная история! Арви шёл по улице и его штаны были в крови. Рассудок его был помутнён.

И всё так сплелось в сознании Угольникова: Турья, Арви, Илона, Муилович, дети, Ёжик, Венсан, татарская бабка, дед Никола.

А Гунько стоял на коленях и плакал – дайте мне дожить спокойную старость. Неужели вы не хотите примирения? Пусть убийцы помирятся с убиенными.

Вы же кричите о милосердии.

О христианстве.  
О всепрощении.  
О беззлобии...

Прийти в себя было уже невозможно! Слишком много случилось с Угольниковым! Но он старался потому, что в памяти был эпизод, когда Угольников надевал красивую дорожную рубашку, застёгивал запонки. И даже ценник Угольников помнил: четверть миллиона уе. А затем в памяти всплывал, как корабль из морских пучин, автобус, но отчего-то тряский и запылённый. А ещё глаза – ясные такие, окаймлённые длинными ресницами. Удивительные глаза Илоны. И хотелось обнять её. Но всё время не получалось, то они бродили по каким-то магазинам с нерусскими названиями, но «Скорая» помощь с немощным стариканом.

И запах валидола и валерьянки.

А ещё танцор – стоящий на коленях перед Илоной, кричащий: «Турья, Турья, ты здесь! Я верил, верил! Ты такая красивая! И живая!»

– Отойди! Это не Турья! – попытался Угольников оттащить танцора Арви, но он упирался. А затем просто укусил Угольникова за руку, прямо впился зубами в ладонь...

Угольников вскрикнул и проснулся.

– Чушь собачья! – подумал он и повернулся на другой бок. Так к нему возвращалась память медленно, скачками. Но то,

что всплывало в головном мозгу было лучше, нежели действительность. А в реальности все думали, что Угольников просто алкоголик и бомж, а рассказ, что он когда-то носил богатые запонки, просто враки и россказни! Сосед по палате слушал, но не верил. Врач сказал: «Записывайте всё, что вам приходит в голову...» Угольников тщательно конспектировал свои сны и мелкие эпизоды.

## День Одиннадцатый

Трамвай едет медленно. Он красного цвета, с флагом. Окна блестят, мерцают. Главное не то, что ты много пишешь, а то, как ты пишешь плохо. И это всё нечитаемо! Ибо речь скучна, не цепляет. Рифмы банальны. Глагольны. Прилагательны. И слышится, всё время прорезается сквозь них бродский-мандельштам-пастернак. За что так им? Особенно прёт Бродский. У Веры Полозковой также. Я её видел в девятнадцатом году на пляже, она была закутана в паранджу, трое мальчиков шли рядом с ней. Когда я окликнул: Вера! Она отрицательно покачала головой, было видно, что испугалась. Через пару минут я увидел, как она уходит с пляжа, рядом с ней её дети.

– Предательница! – хотел крикнуть я ей во след.

Но лишь плюнул вдогонку.

Этот плевок она унесла с собой, покидая Россию. Надеюсь, что мерзавцу Гунько, эта Вера передала часть моего

плевка. Тьфу!

## День Тринадцатый

Мне не хотелось многое вспоминать из своей жизни. Но я помнил запонки. Их изумрудный отблеск. Я помнил деда Николу.

И вспомнил, зачем поехал в Хельсинки.

Не правда, что Гунько пробирался через границу пешком. Оказывается, предателей перевозили на поезде, был такой специальный состав, на котором депортировали больше тысячи карателей, фрицев, нацистов, надсмотрщиков. И те преспокойно укатили в безопасные места. Но отчего, отчего мерещилась граница, перекушенная проволока и Гунько, провалившийся в снег? Ах, да, на одной из стоянок возле деревни, Микула-Ярослав заприметил во дворе красивую девушку. Он впился в неё глазами. Похоть разыгралась в нём, Гунько решил – сбегая по-быстрому, овладею ею и вернусь. Тем более, обычно стоянки поезда длились около часа.

Гунько так поступал с прежними барышнями, даже фрицы дивились тому, как после овладения женщиной, Гунько запросто убивал её. Даже немцы так не поступали, хотя знали, что за их спинами остались беременными простые русские бабы, что их ждёт позор и судилище. Но немцы сохраняли им жизнь. А похотливый Гунько безжалостно расправлялся с очередной изнасилованной барышней. Точно также

он собирался поступить с красавицей, которую заметил.

Её звали Агнешкой.

И это была не Белоруссия, не Украина. Це была уже Европа!

Девушка спряталась в самой дальней комнате, но Гунько, входя в дом, не стал церемониться, быстро прокрался туда, куда его влёл звериный буйный инстинкт. Мать Агнешки выскочила наперерез: «Ни! Ни!» – завопила она. Но Гунько прикладом ударил несчастную мать по голове.

– Отыдь!

Затем шагнул к Агнешке. Разорвал на ней кофту, юбку.

– Эй! Эй!

Гунько повалил Агнешку, одной рукой закинул голову девушки на подушку, слегка придушил её, чтобы не рыпалась. Та, видимо, от ужаса и боли притихла. Воздуха ей не хватало, она как рыба билась об лёд на кровати. Ещё чуть-чуть и она бы задохнулась.

Гунько сладострастно овладел Агнешкой, стал надевать штаны и тут краем глаза увидел в окно, что поезд тронулся. Ещё не хватало отстать от своих! Остаться в этой глухой деревушке и предстать перед Нюрнбергским процессом. Нет! Поэтому Гунько, схватив своё ружьё, коим поубивал немало народу, ринулся к выходу. Ещё шаг. Ещё! По сугробу. По своим следам...

Поезд медленно, пыхтя, отфыркиваясь паром, стрекоча, двигался по рельсам.

Ещё. Ну ещё.

Гунько казалось, что он догонит состав, прыжок. Ещё один. Вот и поручни последнего вагона. Но руки соскользнули, ветер отбросил Гунько в сторону. Ружье вырвалось из рук бандеровца, покатилося вниз, с горы.

Поэтому, поэтому дед Никола указал на сугробы и перекушенную проволоку.

И вернуться было нельзя: сзади стрекотали орудья русского войска! Упрямого, наступающего, бьющего врага!

## **ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ**

Единожды в Тарту Гунько показалось, что он увидел Агнешку. Да! Это была она!

– Догнать. И придушить! – подумал Гунько. – Я успею. Пока жена Роза ходит по магазинам.

Пока она покупает еду, одежду... В 1956 году был страшный дефицит съестного в Финляндии, поэтому приходилось еду брать с боем, в очередях.

Гунько сожалел, что сохранил жизнь Агнешки. Ибо живой свидетель: это предатель. Агнешка запросто напишет письмо в НКВД в Россию. И приедут страшные русские люди, которые разыскивают по всему земному шару предателей, власовцев, нацистов, бандеровцев. У них есть списки и свидетельства.

Гунько погнался за Агнешкой по многолюдной улице. Он

снял с себя шарф, которым намеревался задушить женщину. Та оглянулась, в её глазах мелькнул огонёк ненависти. Ага! Сволота, ты жив! Я тебя сдам сегодня же – в русском посольстве у меня есть знакомые!

Бойся!

Трепещи!

Гунько шёл, расталкивая прохожих.

Вот ещё десять метров.

Пять.

Четыре.

Вот шарф, который Гунько намеревался накинуть на шею Агнешке. Вот он сам – вспотевший и уже немолодой бандеровец. Вот его сильные руки. Вот его звериная башка.

Неожиданно кто-то ткнул его в спину локтем. Кто-то пихнул плечом.

Гунько оглянулся: Агнешка исчезла, кажется, свернула в подворотню. Толпа была очень густая. Навстречу шёл отряд детей, они приехали из Берлина на экскурсию. Как раз в 60-е года было модно привозить детей на фабрику шоколада. Отряд был многочисленный. Мужчина, сопровождавший детей, нагло отпихнул запыхавшегося Гунько:

– Ты что не знаешь правил, что детей пропускают вперёд?

Подошли двое в военной форме:

– Пропусти детей, дядя!

Ноги у Гунько подкосились, он съехал спиной по тёмной стене дома.

Сидел так, пока весь отряд не прошёл мимо. Дети...много детей...

Затем Гунько поднялся. Ноги дрожали. Он стал озираться по сторонам и увидел в окне бледное лицо Агнешки.

– Ага, вот ты где!

Гунько ринулся в подъезд, нажал на кнопку звонка:

– Открой!

Дверь поддалась, Гунько ринулся в прихожую. Но тут ему навстречу вышел рыжеволосый мужчина высокого роста. Что-то спросил по-немецки. Гунько растерялся, на самом деле квартира была пуста, никакой Агнешки там и в помине не было.

– Видимо, ошибся! – подумал бандеровец.

Рыжеволосый мужчина схватил Гунько за шиворот и вытолкнул из квартиры.

– Вонючий, брысь отсель!

Лети, птица!

Лети!

Вниз с лестницы!

Головой стучись о каменный пол.

Так тебе и надо, блудина!

Когда Гунько оказался на улице, то из всех окон выглядывала Агнешка. Из всех домов, из всех переулков. На руках её был мальчик. Он показывал Гунько кулак! Я тебя найду! И отомщу за мать! За то, что ты надругался над ней. И дед Никола мне в помощь!

Испуганная Роза разыскивала мужа до вечера. Она нашла его, он был с помутнённым рассудком. Гунько всё время повторял:

– Меня убьёт мальчик!

Хунка, Хунка...

Гунько изменил свою фамилию на финский манер.

И всё равно, как верёвочке не вейся, а конец будет страшным!

Тебя ждёт ад.

Каждый вечер Гунько боялся, что за ним придут. Он спал очень плохо. Роза никак не могла понять, что случилось с мужем. Она не знала, что живёт с убийцей. Ибо Гунько скрыл от Розы своё прошлое.

Роза Хунка прожила ещё два года. Она так и не узнала, кто этот Гунько...

Петля на шее Ярослава-Микулы сужалась...

Она по ночам стягивала шею.

Возмездие найдёт тебя. Оно найдёт всех!

## **ДЕНЬ тридцать девятый**

Надо ехать снова...

Воспоминания приходили сами по себе. Они были мозаичными. Но рисунок их был цветным. Ярким. Насыщенным.

А какой сегодня год? Ага, двадцать третий.

Пора. Пора!

Хотя было ясно, что Гунько уже нашли и что сын Агнешки, повзрослевший и всё осознающий, давно уже выследил преступника. Схватил его за шиворот, потрянул так, что у Гунько искры из глаз посыпались.

– Віб'єшь, в тюрягу попадєшь! – испуганный Гунько, тараща глаза, прохрипел и словно обмяк.

Неужели вот этот полупарализованный старикан убил 500 человек? Убил деда Угольникового? Да он ходить-то уже толком не может, писает в утку, ест только кашу, протёртую в блендере. Сам скоро в ад сойдёт, ляжет на сковороду в угли раскалённые. Какой смысл шмонать его, грех брать на душу? Тьфу!

Хуже, когда фашизм оправдывают. Пишут о великом всепрощении.

Значит, пишут, чтобы гранты заграничные получить, либо не заграничные, но от людей, кто всё равно полу-фашист. Но деньги таким всё равно на пользу не пойдут.

Вона как с Израиля-то побежали все эти Лицкие-Улицкие, Пономарёвы-Головлёвы. И давай прощенье просить, в ноги кланяться, деньги возвращать на пользу страны своей.

И всё равно настоящее прорвётся.

Само собой.

Ибо небо видит всё. Малость любую. Песчинку. Травинку.

...С той поры пропал старикан, как в воду канул. Видимо, парализовало его. Слёг. Теперь под себя ходит в памперсы

мочится. И всё равно возмездие придёт. За всё!

И всем.

Вот иногда не хочу, чтобы людям горько стало. Но если обижусь, то всё равно расплата настигнет моего обидчика. Либо талант отберёт. Нет, не в смысле, что совсем перестанет этот человек картины писать, либо тексты. Но эти картины будут бездарными, а тексты, хоть и многословными, но совершенно пустыми, типа: «Он парил. Он искал свою Турью. Он не верил, что её нет. Ибо она навсегда. Она и сон, и боль. И тоска. И радость. Это она сидит в образе Илоны с Ёжиком на концерте. Потому, что пришла. Вижу её. Слышу её. Читаю её. Лечу над ней! И как похожа на любимую, лишь чуть повзрослела.

Да, да лет на двадцать. Но старости нет! Есть только бесконечное – люблю...И не зря Арви приехал сюда в столицу выступать на сцене. Не напрасно. Среди всей толпы – он узнал Турью.

Это была настоящая Азиатская Турья.

Слегка узкоглазая. Глаза смородиновые. И мальчик рядом с ней. Нет, юноша. Наверно, сын! Арви помнил, как единожды ночью Турья вошла к нему в дом. Брат, сестра, жена, мама, Ноя спали. Поэтому Арви решил: это знак. Он не стал закрывать глаза, переворачиваться на другой бок. Он просто подвинулся на край дивана, чтобы Турья могла лечь рядом с другой стороны. Она дрожала от холода. Знаешь, как там холодно мне одной? Арви поцеловал холодный лоб. Прижал

ледяное тело Турьи к себе. Долго гладил её и ласкал. Наслаждаясь близостью. Он помнил все складки её тела. Кожу. Каждый ноготок.

– Ты пришла... я ждал...

– Я знаю.

– Значит, мне ввали о твоей смерти?

– Главное, что я здесь. И ты воспитываешь Ною.

– Как нашу дочь...

– Это и есть наша дочь.

– Хочешь сына зачать?

Турья кивнула. Губы её были влажными, пахли землёй и сыростью.

Они вместе поднялись над поверхностью и словно взлетели вверх.

Арви долго дёргался в конвульсиях. Просил Турью не исчезать. Не покидать его. Но она была непреклонна...

И вдруг Арви увидел Турью снова на своём концерте. Это была она!

Сердце сжалось в комок. Арви танцевал так, словно завтра он должен умереть.

Пьета!

Пьета!

Пьета!

Это тебя рисовал Муилович.

Тобой грезил он...

Тексты были многослойными:

«Турья...ты Пьета...ты Илона..., и ты настоящая!»

Доктор брал в руки тетрадку, перечитывал. А что? В этих текстах был смысл. Он давно отличал настоящую амнезию от поддельной. И он снова попросил Угольниковца:

– Попробуй напиши кто ты?

– Не помню...

– Просто напиши свои данные. Молча.

Угольников написал: «Алексей Иванович».

...тексты были длинными, тягучими, иногда сбивались на латиницу, либо на старославянский язык. Но они потеряли свою лучистую одарённость. Свою неизбывную талантливость. Осталась лишь одна тяга – желание излагать тексты. Но читать их было невозможно. Так пишут шизофреники. Люди, у которых раздвоение личности. Недолеченные от биполярки. Люди с глубокой детской травмой, коих лупили и ставили в угол обозлённые на жизнь мамыши. Люди не долюбленные своими строгими сталинскими отцами. Девочки, изнасилованные в четырнадцать лет, мальчишки, коих застали за непристойным занятием и жестоко отлупили за это ремнём. О, как бывают нечисты самые чистые! Но надо понимать, что человек отчасти животное. И уметь переключать его внимание нежно и тактично, так говорят психологи.

Илона как-то испугала бабушку, придумав, что переспала с неким Игорем, Илоне хотелось понять: будут ли её за это ругать? Нет, бабушка только всплакнула. Но узнав, что Илона соврала, обрадовалась и неожиданно напилась вечером в стельку. Было и такое, что та же самая бабушка переспала с первым мужем Илоны и в приказном порядке после этого потребовала, чтобы Илона подала на развод. Второй муж Илоны оказался не краше. Но более умным, хотя и гулякой на все четыре левые стороны.

Когда в перерыве к Илоне и Ёжику подошёл режиссёр театра, женщина удивилась:

– Что-то случилось?

– Нет...нет...просто наш прима-танцор просит вас и вашего сына зайти к нему после спектакля...

– Зачем? – Илона с удивлением посмотрела на молодого, цветущего и пышущего здоровьем режиссера.

– Он считает, что вы его судьба!

– Я замужем, и у меня сын. Поэтому ваш Арви ошибся!

Илона поднялась с места, взяла за руку Ёжика: пойдём в буфет, что-нибудь купим вкусенького!

– Не утруждайтесь! – режиссёр ухватился за запястье Илоны. – Мы для вас заказали ужин в ресторане!

– Вы сумасшедший! – Илона отдернула руку. – Мы никуда не пойдём, ни за кулисы, ни в ресторан!

Ёжик нахмурил бровки. Вцепился руками в юбку Илоны.

– Что вы! Мы от чистого сердца! Кстати, вы были в Фин-

ляндии?

Илона крепко держала Ёжика за ручку, пробираясь к выходу.

– А что? Допустим, что была!

– Мам, ты была в Хельсинки? – Ёжик с удивлением поглядел на Илону.

– Была. Идём скорее, а-то не успеем до окончания антракта съесть мороженное!

– Бежим! – улыбнулся Ёжик.

И они опрометью метнулись в кафе.

Хотя прозвенел уже третий звонок. И толпа, наоборот, рванулась к зал.

Лестницы в театре были широкими, просторными: всем хватило места и тем, кто спускался, и тем, кто шёл наверх. Каково было удивление Илоны и Ёжика, когда они увидели, что прима-танцор ожидает их за столиком.

Режиссёр, тяжело дыша тоже вбежал в зал кафе, отирая пот со лба.

– Ну вот и славненько! Садитесь, гости!

– Ой, мороженное клубничное, моё любимое! – воскликнул Ёжик, пристраиваясь к столу.

– Ну...но...о...

Илона с опаской села возле сына.

– Угощайтесь пока! И простите, если я вас напугал, – кивнул режиссёр, – а нам с Арви пора.

Не так ли?

Илона только пожала плечами: странные люди эти артисты! Не понятно, чего хотят? И при чём тут Финляндия?

Арви пламенно посмотрел на Илону, его щёки покраснелись, прямо-таки расцвели румянцем:

– ole hyvä vain. Tätä kaikki on sinulle! – произнёс он по-фински.

И добавил по-русски:

– Божественная!

– Вы, наверно, нас с кем-то спутали! Да, я была в Хельсинки. Но всего три дня. Меня сопровождал друг по фамилии Угольников. Я познакомилась с женщиной Оливой, влюблённой в Арви. Видимо, Арви, это – вы?

– Вы не волнуйтесь! – режиссёр сделал реверанс. – Арви с вами просто побеседует и всё. Ну не съест же он вас! У него к вам дело! Тем более, вы догадались, что он муж Оливы. Правда, он плохо говорит по-русски. Но я помогу, как переводчик! А теперь: угощайтесь! И поторопитесь на второе отделение! После третьего придите с сыном сюда. Буквально на час-два для беседы!

Ёжик доедал уже вторую порцию клубничного мороженого:

– Мам! Ну, что ты в самом деле? Неужели боишься этих людей?

... Угольников дописывал девяностую страницу дневника. Это и вправду помогало вспоминать и приходить в себя. На

сотой странице Угольников вспомнил жену и ребёнка. На двести одиннадцатой он вспомнил всего себя. Но тексты летели сквозь него стайей осенних листьев: «Турья сидела в зале с сыном. У мальчика было смешное имя Ёжик. По-фински Ерик. Он был похож на меня! И ему было девять лет. Точно! Это мой сын! Ровно девять лет и девять месяцев тому назад Турья приходила ко мне! Ночью. Она вся светилась. Сияла. И эта женщина в третьем ряду светится и сияет...

У нас будет ночь. Сегодня. Ерика мы уложим спать в гостинице, а сами побредём вдоль канала, взявшись за руки. Её ресницы будут светиться в темноте. Дыханье будут сбивчивым, но тёплым. Когда я овладею ей, она размякнет и положит голову мне на плечо. И я пойму: живая. Сильная. Умная.

Позже, под утро она наденет свою норковую шубку, затем завяжет шарф на шее Ерику, улыбнётся и исчезнет в тумане.

Нет!

НЕТ!

Не уходи...

но она опять уйдёт. И скажет:

– Я замужем. И я не уеду жить в Хельсинки. В вашу пиндосию! Там отбирают детей. Либо делают из них нетрадиционалов. Нет. И всё тут!

– Приезжай, когда вырастет Ежик!

– Не могу.

– Отчего?

– Мне надо будет воспитывать внуков Ёжика...

Странно...

Но я люблю тебя.

Люби! Кто тебе мешает!

Ты! Ты мешаешь! То ты исчезаешь. То вновь появляешься. Но говоришь – не могу остаться. Не могу уехать с тобой. Не могу оставить тебя тут в России.

Отчего? Зачем?

Так сложилось...

Это мозаика. Мы состоим из встреч и разлук. Из жизней и смертей. Из бездн и высот. Из низин и впадин. Иначе не получается сложить пазлы. Ибо там, где убыло, что-то должно прибавиться, там, где удалилось, должно вырасти новое.

Для меня дети – это всё.

А мужчина?

Арви – ты танцор, ты нужен сцене. Тебя ждёт вся Европа, вся Америка. А я из Азии. Я – азиатка...

Милая... Пьета из Азии! Это о тебе написано сотни картин. И люди приходят полюбоваться ими. То есть тобой! Скорбная Пьетой.

Поющей Пьетой.

Верной Пьетой.

Танцующей и молящейся...

Ты создана для людей. И твоя кожа фарфоровая. Молочная. Как китайский бидончик – ты в одном экземпляре. Но ты можешь приходить к людям. Становиться женщиной...

И лишь однажды. Ещё раз, ибо Арви очень возжелал этого  
– Пьета снизошла к нему.

– Турья моя...

Он танцевал – и она явилась. Предстала. Как всегда прелестная и обворожительная. Незабываемая и красивая. Она почти не постарела, лишь несколько морщин выступили на её щёчках. Рот был полуоткрыт, а там – все тридцать два белых сочных зубов! Язык влажный, его кончик чуть загнут. Горячие розовые альвеолы и упругое нёбо.

Арви танцевал, кружился.

Затем он обхватил Турью за талию и поцеловал её.

– Ты вернулась?

– Нет. Я приехала всего на три дня.

– Одна? С сыном?

– Сын женился.

– С мужем?

– Муж спился.

– С другом?

– У друга амнезия. Он не скоро оправится.

– Значит, одна?

– Ага!

Арви прыгнул со сцены. Дряхлеющий, состарившийся, перенёсший операцию на сердце Арви был рад. Он жадно вцепился в губы Турьи. Нежно пританцовывая, вывел её из зала. Публика ликовала: это было похоже на продолжение

шоу. На экране загорелись марающие огни. Затем наступила тишина:

– С Новым годом, Финляндия! Пока Арви танцует – ты будешь жить. Но когда он закончит своё смертный танец, ты погрузишься во тьму. Вступишь в НАТО и погибнешь. Только любовью к России ты пока жива. Только русским духом ты ещё свежа. Целомудренна. И поэтому непобедима. Но скоро, очень скоро твои враги начнут тебя разрывать изнутри. Жадать тебя. Вожделеть во всех позах. И однажды ты проснёшься истерзанная, измученная, тобой воспользуются развращены Европы. Они пресытились женщинами, мужчинами, детьми, стариками, младенцами. И сейчас они хотят тебя! Они хотят твоего Деда Мороза, то есть Санта Клауса. Снегурочку.

Они хотят твоих коней и оленей.

Хотят твои конфеты и печенья.

Твой мармелад и зефир.

Твой шоколад.

Твои мощёные площади. Улицы. Окна. Двери.

Пока ты скрываешь в своих недрах Гунько, они будут иметь тебя во все щели. Отверстия, впадины, ямки, рвы, окопы, двери, замочные скважины. Ты даже не понимаешь, кого впустила в себя. Этот Змий никогда из тебя не сможет выйти, он будет иметь тебя вечно. Глупая девка ты, Финляндия! Никакие таблетки не помогут тебе вытравить из себя это чудовище, этого осьминога, даже смертельная доза, ко-

торая убьёт тебя, но не убьёт кровососущее животное внутри тебя.

Ты сделала последний смертный шаг. Ты отдалась Змию. Ты повелась на его сладкие сказки. На его песенки.

сэ мианасанаёта пуррапита эйму нипоа ниласта  
суат манаита-вакаланиста ита ва мина анлоу иваста  
силяэй-тата пойку кайнус хайта сильокон танси лэеста  
лайта

саливили-ипу тупу-тапу тапу-типу хильялэ

Это была песня про овечку, которую съел-таки серый волк, сначала он захотел её, как женщину, затем как царевну, потом, как мужчину, как дитя. А, насытившись, скушал. И всё. Остались лишь рожки и копытца Долли. Глупая Долли. Хоп-хоп.

...Гунько притащили на главную площадь. Поставили виселицу.

Это было справедливо. Суд должен быть показательным. Ибо погибнет вся Финляндия.

– Тащи его!

Слово – «простить» было излишне! О мщении взывал дед Никола. Его фото почти выцвело. Стало серым. Но Угольников сделал копию. Увеличил её.

Настало время поквитаться.

У Гунько дрожали колени. Его посадили в сани, запряжённые оленями, чтобы дед последний раз полюбовался полярным кругом. И помчали олени! Быстро! В узком проулке

мелькали сцены Страшного Суда:

белые фрески. Синие фрески. Красные фрески. Пожары. Торнадо. Атомный взрыв. Дождь. Снег. Лунный камень.

Гунько крепко держался за поручни саней, но на поворотах заносило. И сколько бы он не орал – хенде хох! Никто не сдавался. Наконец сани тряхнуло так, что гестаповец вывалился в сугроб. Агнешка расхохоталась:

– Ага! Попался, мразь!

Стала душить.

Но народ хотел публичной казни. Страшной и инквизи- торской. Чтобы короткие ноги Гунько начали дёргаться в судорогах. Чтобы его серая голова свисла с верёвки. Чтобы вороны налетели и стали разрывать на куски вонючее тело. Ещё кусок. Ещё один.

Но нет. Надо ещё страшнее – надо отпиливать каждый час по пальцу. Затем по кисти руки, по колену, по куску печени... жуть!

...но танец продолжался. Турья – милая, ласковая, нежная – ты со мной! Останься хотя бы на одну ночь! Со мной! Прошу!

Зачем просить? Я здесь. Живая. Настоящая. Лёгкая. Лёша, прости меня... ты любил меня напрасно. И прекрати писать свои дневники. Они бесполезны. Жизнь надиктовала мне иное: она мне надиктовала Арви... Сумасбродного. Не настоящего. Танцующего. Арви – безграничен...

11.

Да, да, Арви безграничен. Он легко преодолевает любые заслоны, заборы, препятствия, он слишком хорош, чтобы его не любить. У него смешные кисточки из жёстких волос, нежный голос. Он так смотрит, что берёт оторопь, словно гипнотизирует взглядом. Он специально выучил русский язык и его речь звучит так:

«Ты не понимаешь, я влюблён в тьбя с детства. Ты моя мечта. Ты моя – всё. Не отказывайся от мьеня...»

«Не выдумывай. Это твои фобии...твоя Турья погибла в катастрофе. Она оставила Оливе Ною. Кстати, как там Ноя?»

«Ты одно лицо с Турьей. Фигура. Грудь. Колени. Я помню их! Они выпирают из-под ситцевого в горошек платья... у тебя есть такое?»

«У кого нет ситцевого в горошек платья? Оно есть у всех! Даже у моей сестры. Я помню, как его покупала на улице Стачек в Свердловске! Но причём тут Финляндия. Холодная, как пломбир?»

«Всё в мире взаимосвязано...Илона!»

Арви сел рядом, приобняв женщину. За окном плескалось море. И надо сказать, что их встреча была неожиданной. И немного обыденной. В Сочи.

Вообще, Илона не любила ездить на отдых одна. Когда Ёжик был маленьким, то она летала с ним, оставляя своего неуклюжего супруга дома. Затем Ёжик женился, Илона ездила отдыхать с внуками. Но и они тоже выросли. Теперь

можно насладиться приятным одиночеством... Но не тут-то было! Зайдя вечером поужинать, Илона нос к носу столкнулась с Арви:

– О! о...

– Здрасьте! – оторопело произнесла Илона.

– Целую твои ручки! – Арви схватил женщину за запястья, бросился на колени и уткнулся головой в её колени! – Выходи замуж за мьеня!

Его седые волосы были взъерошены. От Арви пахло чем-то сладким и хмельным.

– Это судьба! Я тут на гастролях... смотри!

Арви махнул рукой в сторону доски объявлений. Его руки были мягкими. Он трепетал весь. губы его подёргивались:

– Ты жизнь моя...

Илона присела на корточки рядом:

– Ты придумал меня. Сочинил... может, встанешь с колен? Я хотела бы поесть. И выпить чашку кофе. А ты – замуж, замуж. Дай хоть глоток воды выпить...

– Конечно! Маэстро, будем ужинать!

Арви вихрем вскочил на ноги, обнял Илону за талию и повёл к столу.

Он выглядел очень артистично не смотря на возраст. Илона, наоборот, слегла располнела, лицо утратило былой румянец, но весь облик по-прежнему был стремительным, молодежавым и привлекательным.

– Королева...

– Арви... я замужем, это первое. Далее, я совершенно земная женщина, без всяких ужимок. И я уже старая.

– Нет! ты лучшая!

Они ели виноград, запивая сухим вином. Ели мясо, запивая сладким лимонадом. Ели пирожное, отхлёбывая настоящий мексиканский кофе.

– Можешь, подумать...

– Нет. Не буду...

– Тогда всего лишь ночь? Одну ночь? Я могу попросить тебя об этом? Или всё, что ты хочешь взамен – я куплю тебе роскошный автомобиль, ты будешь в нём любить других мужчин. Куплю тебе дом на берегу моря, там тебя будут ласкать молодые любовники. Я дам тебе много денег, ты будешь купаться в роскоши! Могу приобрести целый остров – там ты будешь загорать, а не в этом затрапезном Сочи. У тебя будет личный самолёт, парусник, земля. А я буду навещать тебя тогда, когда ты захочешь! Соглашайся!

– Пару часов тому назад ты говорил о замужестве. Теперь о том, чтобы я стала любовницей. Ну, ты и романтик! – улыбнулась Илона. – Ещё немного и я соглашусь на остров!

...это был действительно самый настоящий, с песчаным пляжем, великолепной панорамой, уютным двухэтажным домом, с плантацией виноградника и собственной яхтой остров! У Арни было много денег, он осыпал ими Илону с ног до головы, когда та лежала на своём уютном диванчике, чи-

тая странный сказочный дневник Лолы...

Но Илона не согласилась. Пусть в сарае, но дома. Пусть плохой муж, но свой. Пусть пока развивающаяся, но своя родина.

– Ты патриот?

– Ага! – кинула Илона, заедая шампанское шоколадом.

шаманское – напиток дивный...

шампанское – шаманское вино!

12.

Муилович добрался хорошо. Он даже был немного рад, что его отправили обратно.

– Значит, тому быть!

Пропажу семи этюдов он обнаружил, когда начал искать на дне сумки пару бутербродов.

– Пусть! Всё равно это – копии... а оригиналы дома.

Не дурак же Муилович – художник тащить натуральные свои работы в эту грёбаную Финляндию. Он ехал и надеялся на «авось», на «а вдруг», на «отчего бы нет».

Но не вышло.

Самое главное, что вдохновение не оставило его. Вот смотрит он, как у иных: и грамот полно, и медальки есть, и премии там разные, а вот картины – пустые, длинные, не цепляют... Что осталось кроме мастерства и зуда в ладонях?

Ничего!

Но всё равно эти мазилы ходят по выставкам, суют свою мазню покупателям...

А другие смотрят и видят – исписался...

Всё.

Кранты тебе, как художнику.

И не обольщайся.

Твоё дело теперь: статьи кропать, ну там подхалтуривать в мастерских, прозябать!

А Муилович!

А Муилович!

Он увидел свою Пьету. Узнал. Аж волосы на голове зашевелились. Она!

– Эй! – крикнул он, перебегая улицу, – девушка! Девушка!

Илона сразу узнала Муиловича. Ещё бы! Столько шуму было из-за него по дороге в Хельсинки.

– Здравсте...

От Илоны пахло шампанским, виноградом и хорошими стойки духами.

– Я должен... мне надо... дописать вас...

Илона согласилась. То она – Турья для влюблённого Арви. То она Пьета для сумасшедшего Муиловича... видимо такая её участь быть разнообразной женщиной.

– Прямо сейчас? – изумилась Илона.

– Конечно! Я даже могу вам оплатить! – И Муилович достал небольшую пачку денег из кармана. – Соглашайтесь!

– Откуда у вас это? – Илона зябко повела плечами.

– Из галереи Атенеум, некая Вето, которая сделала уголок выставки для моих Пьет! – похвастался Муилович.

– Вот это да! – ахнула Илона. – Надо же...

Когда они ехали в такси, Илона призналась Муиловичу, что это её рук дело. Её и Угольникову, которому нечаянно попали в руки, потерянные художником, этюды.

– Невероятно! – Муилович схватился за голову. – Значит, гонорар пополам?

Илона лишь повела плечами. Конечно, от денег не хотелось отказываться, но и брать их было как-то неловко.

– Прекратите церемониться! – Муилович помог Илоне снять шубку в прихожей. – Мы не в театре. Это просто жизнь...

Пьета кормящая сына:

он был такой хорошенький! Глаза синие. Ресницы длинные. Ручки пухлые, пальцы ровные, ногти лаковые.

И вдруг такого вести в детский сад? как? Оставить его там без своего пригляда. А Ёжик за подол юбки хватается: «Мама. Мама!» Невыносимо...

Едешь потом в автобусе на свою грёбанную работу и думаешь, поскорей бы вернуться за сыном. А он стоит за окном, ручки тянет, в глазах слёзы. Ну, какая тут работа? Служба

на благо?

Возвращаешься обратно в троллейбусе, битком наполненном такими же спешащими мамашами и папашами с работы, молодыми женщинами, уставшими от трудового дня мужчинами предпенсионного возраста.

Не хотелось думать о деньгах. Об этих розовых бумажках с портретами вождя. Хотелось одного: держать на руках сына, прижимать его к себе. Тетёшкать. Вечером очень хотелось спать, а тут надо – погладить колготы, шорты, рубашку. Надо мужу приготовить ужин из скудных продуктов, супового набора, квашенной капусты. Нарезать пышный пшеничный хлеб на ломти.

А ещё плов! Чуть жареной моркови, лука, немного докторской колбасы.

Ешьте!

Сынок...какой ты хорошенький. И плевать на весь мир. На этих завистливых тёток на работе. Особенно доставалось от толстой товарки. Та ещё дура! То ли журналист, то ли музыкант, то ли толстушка-давалка. Вот треснуть бы по затылку! Скалкой. Ну чего ты делаешь? Остановись. Хоть на минуту. Чернушные чертежи будущего интеллекта. И ничего мне не надо доказывать, ибо ясно вот-вот лопнешь от зависти. Так бывает: идёт человек, идёт, и внутри нечто щёлкает. Хоп-хоп...

А завтра снова вставать рано, идти на работу. Нет, сама по себе деятельность Илоне нравилась, но разлука с маленьким

сыном – это тяжело. Словно кожу с себя снимаешь...

Пьета отводящая сына на занятия брейк-дансом:

...танец... что это? Пластика. Движения. Спорт.

Арви тоже танцевал, отдаваясь танцу до судорог. Ёжик сначала не сказал Илоне что записался в кружок спортивного брейка. Ему было 12 лет, он выглядел вполне самостоятельно. Но время было сложное – девяностые лихие, роковые! Вечерами рано темнело. Ёжик начал возвращаться поздно, Илона забеспокоилась...

Тени...много теней...остановка автобуса. так колыхнется сердце. Сын, ты где?

Именно в этот вечер Ёжик признался, что он решил посещать занятия. Илона ответила:

– Я не запрещаю. Но у меня есть условия!

Ёжик поморщился:

– Ещё не хватало...

Но вынужден был смириться потому, что Илона предупредила:

– Тогда я не стану оплачивать с этого месяца твои тренировки! Во-первых, я тебя встречаю сама с каждого занятия. Во-вторых, перед уходом ты делаешь все уроки до единого.

Сын вырос красивым.

Патриотом.

Не алкашом.

Однажды Илона увидела, как одна из поэтесс жалуется на

нехватку денег в соцсетях.

– А сын что? Дома сидит, пиво пьёт? – подумала женщина. – Пусть идёт и работает. И вообще, если ты считаешь себя даровитым человеком, то надо соответствовать своему дару. Нет денег? Иди работай. Хотя бы уборщицей. За пару месяцев у тебя появится небольшая сумма денег. На неё ты сможешь купить себе немного одежды, еды, обувь более-менее приличную. Нельзя одеваться, как бомжичка или пьяница. Надо соответствовать своему таланту. Никаких скандалов. Жалоб и депрессий. Даже болезни свои надо прятать. Дар – это такая жизнь и смерть одновременно, когда смерть – это вдвойне жизнь. И ты седлаешь буйного пегаса и мчишь вверх. Ибо ты несёшь дар в переднике, пахнущем тестом и пирогами. На балконах женщины – у них у всех в животах дети. Ибо все женщины беременны. Подумай, им какво? Поэтому не жалуйся. У них в животах бьются ножками их голенькие, тёплые, нежные зародыши. А ты вся такая бледная, с кошёлкой, в немодных брюках и в телогрейке. Разве им хорошо от этого? Тогда пожалей детей их.

Также, как Илона просила: пожалей дитя моё! Ибо живая душа важнее чьих-то текстов, замесов, ревностей, подозрений, твоей неумной зависти, паранойи.

Вообще, так не надо. Не лезь к женщине, у которой на руках дитя. Ей некогда. Надо кормить, поить, спать укладывать. И ночью самой хорошенько выспаться. Чтобы утром встать и приготовить омлет, сырники, блинчики с вишнёвым

повидлом. Затем пойти на прогулку. Смотри: снегири!

Смотри: зимнее солнцестояние!

Смотри: огромный синий шар неба, а мы все внутри.

Воздух лёгок. Незрим. Прозрачен.

Читай побольше. Читай вслух. Читай радостью.

Тогда расскажу тебе, что такое грех: если ты не уступил место женщине с ребёнком. Если ты сделал больно женщине с ребёнком.

Значит, идём мы – сын и мама. Он ручками шею обвил. Прижался. Он маленький. И мир замыкается. Сына надо воспитывать в духе патриотизма. Любви к родине.

Терпеть не могу, когда матери жалуются: сын не может найти работу, сын дома сидит пиво пьёт. А воевать он за родину не пробовал? Или струсил, зажилил, а того хуже за границу дёру дал. Хреновая ты мамаша, однако! Если бы мой сын или племянник в предатели подался бы, я бы его за шкуру схватила – и давай ругать! А ты сидишь такая в соцсетях и сетуешь, что сын ленивый, что он работу ищет; а на самом деле он просто дом строит себе, коттедж, а ты деньги попрошайничаешь в соцсетях. Ну и ну...

Муилович бы такую рисовать не стал! Рука бы не поднялась.

Пьета была, как настоящая!

Кожа гладкая. Слезы крупные. Руки тёплые.

Ими она сына качала, на руки брала. Пеленала. Растила. Кормила. Кашу манную варила и вела его на прогулку. Она

была морем. Домом. Миром.

Не забывай, кто ты есть!

Илона кормила сына грудью. Молока было много. Оно вытекало густым белым, сладким питательным напитком. Откуда бралось это чудо? Какая древняя в нём сладость?

Женщина – великое чудо.

Мать.

Муилович закончил работу. Это был шедевр. Пьета сама вошла на Голгофу вместо сына. А было так: когда стража вошла в дом, женщина спала. Иосиф был на работах. Он плотничал. Стража схватила Пьету за запястья, выволокла на улицу. Солнце ещё не встало, лица женщины стража не видели. Им было всё равно – кто это, они исполняли приказ Ирода. И они знали – именно в этом доме находится то существо, которое надо вести на гору.

– Неси, неси крест!

Пьета смирилась: в конце концов кричать и звать на помощь было бесполезно.

Камни резали ступни. Но плакать тоже не было смысла. Заря красной полоской позолотила край неба.

«Ну что, ну что... судьба такая... помоги мне, Господи!»

Марию втащили на гору. Толпа разошлась. Все молчали. Лицо Пьеты было исполосовано дождём, спина взмокла кровью от ударов палкой.

Белая накидка плотно облегло фигуру.

Удар молотком. Тяжёлым камнем. Тело Пьеты обмякло. Его втащили на крест. Гвозди легко вошли в хрупкие ладони. Лишь когда кто-то воткнул кол в живот, она слабо простонала.

Муилович отошёл от полотна: он понял, что работа закончена.

Выражение его лица было спокойно и одновременно величественно.

Он закрыл дверь за Илоной, которая ушла под утро. Она позировала всю ночь художнику. И это было мучительно и прекрасно.

Остановись, человек!

Постой немного. Склони голову. Заплачь. И пусть тебе ответит это высокое, глубокое, смертное небо бессмертия. Пойми, что надо смирить гордыню перед великим подвигом матери. Встать на колени.

И никакой танец не поможет. Никакой клич. Никакой плач.

Никакая страна. Небо. Не поможет никто. Ибо мать взошла на крест во имя сына, ради сына, вместо сына. И она им стала, чтобы он оставался живым для людей. Для их безгрешности и бесстрашия. Ибо когда-то наступит именно то время, когда люди станут чище и лучше, душевнее и справедливее. Поэтому они перестанут умирать. Но до тех пор, пока их душа увешана тяжёлыми камнями грехов – это

НЕВОЗМОЖНО.

И будет так!

## КОГДА ЗАМЁРЗНЕТ ВСЯ ФИНЛЯНДИЯ

ЗИМОЙ.

Ранней. Или поздней.

Начнутся морозы внезапно. И сразу до семидесяти градусов. Замёрзнут паруса флагов. Стручки трав. Магазины будут занесены доверху сугробами.

Люди будут требовать тепла. Света. Электричества. Но из-за глупых правителей, прервавших сообщение с Россией, не будет ни газа, ни нефти. Станции остановят работу. Автомобили перестанут ездить, не будет топлива никакого.

Сама виновата, скажут ей.

Ну и дура. Добавят.

И это будет страшно. Кто-то из людей попытаются прорваться через границу в Белоруссию. Они будут забегать в первые попавшиеся кафе, дома, школы, умоляя, чтобы им позволили согреться. Но кто-то из людей не смогут дойти, они так и замёрзнут, превратятся в ледяные статуи. Чиновничество и управители погрузятся в самолёты, но они не смогут оторваться от земли, ввиду обледенения крыльев. Те самолёты, которым удастся взлететь, через некоторое время рухнут на землю.

Это апокалипсис в единственном роде.

И это страшно на самом деле!

А картины Муиловича найдутся. На той же самой остановке, где они сиротливо остались лежать в сумке.

Завтра – выставка!

И лишь мелодия ветра донесёт до нас печальные звуки рожка. Последний танец Арви. Более его никто и никогда не увидит. Видимо, его, как и всех, ожидает печальная участь. Когда наступит лето, ледяные фигурки оттают и рухнут на зелёную траву, раздираемые в клочья дикими кабанами.

Или волками.

Серыми, пушистыми, мордастыми. Как ты.

А усы у них ягодные. Лапы пахнут мятой. Носы черные. Тычутся, как боль моя изнутри прямо в сердце. Люби их! Как меня любишь! Танцуй ими. Жди ими. Люби ими.

Волчье сердце самое верное.